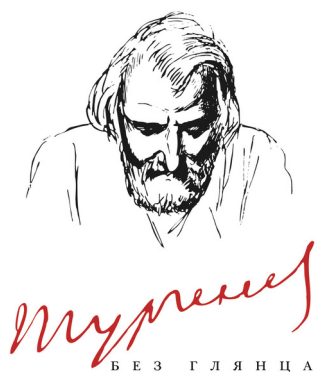




ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

Павел Евгеньевич Фокин
Тургенев без глянца
Серия «Без глянца»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9525780

Тургенев без глянца ; [сост., вступ. ст. П. Фокина]: Амфора; Санкт-Петербург; 2009

ISBN 978-5-367-00907-1

Аннотация

Тургенев почти сразу занял свое, исключительное, место в истории русской литературы. Однако натура великого писателя вызывала либо ожесточенное неприятие, либо восторг. Пытавшийся подняться над противоречиями общественных мнений, суждений и пристрастий, Тургенев остался в одиночестве. У него оказалось немало друзей и много врагов, поскольку в его век беспристрастность считалась дурным знаком. Трагические и комические минуты жизни этого великана записали многочисленные мемуаристы. Часть фрагментов их воспоминаний приводится в книге впервые за последние сто лет.

Содержание

Ad Marginem	5
Личность	9
Облик	9
Характер	14
Творчество	19
Свойства ума и мышления	24
Собеседник	26
Рассказчик	27
Спорщик	30
Общественно-политические взгляды и убеждения	32
Эстетические предпочтения и вкусы	35
Мировоззрение	39
Особенности поведения	41
Озорник и забавник	45
В женском обществе	48
С детьми	52
Привычки, обычаи, причуды	54
За шахматами	58
Наедине с природой	59
Охотник	61
Барин	65
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Тургенев без глянца

Сост. Павел Фокин

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2009

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2009

* * *

Ad Marginem

Сколько раз в жизни мне случается припоминать слова, сказанные мне одним старым мужиком: «Коли человек сам себя не истреблял – кто его истребить может?»

И. С. Тургенев.

Из письма Я. П. Полонскому

Достоевский как-то раз посетовал не без раздражительности: мол, мне бы такие условия работы, как у Тургенева! «Пролетарий умственного труда», мыкавшийся по съемным квартирам даже в лучшие свои годы, увидав однажды в «Истории русской литературы» фотографию дома Тургенева в Баден-Бадене, возмущился до отчаяния: «Какое отношение имеет дом Тургенева в Баден-Бадене к русской литературе!» И не только географическое положение тургеневской виллы было причиной негодующего возгласа. Для русской литературы, бьющейся над «проклятыми вопросами» бытия, он был действительно слишком покоен и роскошен, а царившая в нём жизнь – слишком легкомысленна и беззаботна.

Достоевский, ездивший в Баден-Баден для того, чтобы вырвать у фортуны куш и, расплатившись с долгами, зажить – всего лишь! – по-человечески, обдумывая и komponуя роящиеся в голове идеи и образы, не мог спокойно принять безразличного к материальным заботам, по сути своей курортного существования собрата по перу, сочинявшего для развлечения учениц Виардо оперетки на французском языке.

Впрочем, вид Спасского-Лутовинова, помести его П. Н. Полевой в своей «Истории русской литературы» вместо баденского замка Тургенева, едва ли был бы принят Достоевским любезнее. Да только ли Достоевским! Видимое благополучие Тургенева смущало и прельщало многих.

Плюс ко всему был он и внешне хорош собой! В буквальном смысле слова на голову выше всех! Брюнет с голубыми глазами! (И даже ранняя седина не испортила облика, лишь придала благородства и достоинства.) С аристократическими манерами, ухоженный и избалованный, не знающий прохода от поклонниц и поклонников – и в молодости, и в преклонных годах, он, как писал К. Н. Леонтьев, был «гораздо героичнее своих героев». Выразительнее, эффектнее, ярче. И пусть в нём не было особого «задора», по слову Д. В. Григоровича, зато обаяния – в избытке.

Прибавить к этому тот энтузиазм, с которым читатели нескольких поколений принимали каждое сочинение Тургенева (будь то восторг или осуждение, но никогда – безразличие и равнодушие), и, действительно, судьба писателя покажется чуть ли не идеальной.

И всё бы так, кабы не мучительный, страдальческий финал этой, по всем признакам, небывало счастливой жизни.

При богатырском телосложении Тургенев не обладал порядочным здоровьем. Особенно изводила его подагра. Да и сердце поигрывало. Временами обострялись боли внутренних органов. Давала о себе знать «неврома». Но худо-бедно он с ними справлялся – лечением на водах, консультациями и рекомендациями лучших европейских врачей. Однако и врачи, и их методы оказались бессильны, когда весной 1883 года у Тургенева стал стремительно развиваться онкологический процесс, за несколько месяцев изъевший некогда величественное, красивое тело, превратив его в бессильный скелет, обтянутый рыхлыми мышцами и дряблой кожей... Метастазы, поразившие позвоночник, вызывали невероятные боли, исторгали из обессиленной груди страдальца страшные крики, которые разносились по окрестности и заставляли вздрагивать обитателей соседних домов... Ему впрыскивали морфий... Он молил, чтобы ему дали пистолет или покончили с ним как-нибудь ещё... Когда

пришёл смертный час, оплакивавшие его близкие и друзья в душе радовались об избавлении несчастного от мук...

Для медицины того времени рак был ещё малоизученным заболеванием. Да и сто лет спустя оно остаётся одним из самых трудных для лечения. В конечном итоге всё по-прежнему решает чудо. Причины заболевания тоже не до конца выявлены, хотя всё более и более склоняются врачи к тому, что источником злокачественных образований является внутреннее напряжение, стресс, не находящий решения внутренний конфликт личности с собой. И в этом свете жизнь Тургенева предстаёт совсем в иной окраске.

Да, он с детства был любимцем маменьки. Её Вениамином, как она сама выражалась.

Да, был красив и богат. Унаследовал царственное имение... Построил себе дом в Баден-Бадене... Купил дачу под Парижем... Собирал коллекцию картин... Раздавал деньги направо и налево, никому не отказывая в помощи... Был донатором Литературного фонда и Общества русских художников в Париже... Учредил библиотеку для русских эмигрантов... Открыл и содержал школу в Спасском...

Да, природа наделила его умом и талантом... Получив европейское образование, свободно владел языками и чувствовал себя уверенно не только в салонах Москвы и Петербурга, но с тою же лёгкостью – в Берлине, Париже, Лондоне, Риме, Вене... Он объехал всю Европу. Знал лучших людей своего времени... Он видел Пушкина! Встречался с Гоголем и Лермонтовым. Ему покровительствовал Белинский... Некрасов, Герцен, Лев Толстой, Гончаров, Достоевский, Островский, Фет, Тютчев, семейство Аксаковых, Шевченко, Григорович, Полонский были ему приятели... Мериме, Флобер, Жорж Санд, Гюго, Жюль и Эдмон Гонкуры, Золя, Мопассан, Доде, Ренан, Тэн принимали за честь его дружбу... Его приветствовали Теккереи и Диккенсы... Он слушал лучшую музыку в исполнении лучших музыкантов своего времени... Выдающиеся художники, среди которых Антокольский, Репин, Polenov, Верещагин, Боголюбов, прислушивались к его советам...

Да, его литературная карьера сложилась исключительно успешно. Его книги имели небывалый общественный резонанс. Император Александр II однажды признался, что именно «Записки охотника» стали последним аргументом в его решении упразднить в России крепостное право... А какую бурю откликов вызвал Базаров!.. С лёгкой руки Тургенева в культурный оборот вошли и навсегда закрепились в нём такие понятия, как «лишний человек», «дворянское гнездо», «нигилист», «тургеневская девушка»... Он при жизни получил мировую известность: его произведения издавались в Германии и Франции, Англии и Испании, нашлись горячие почитатели даже в невообразимой Бразилии... В Соединённых Штатах колонисты в честь героя «Отцов и детей» назвали своё поселение! Вместе с Виктором Гюго он был избран сопредседателем Всемирного конгресса писателей в Париже... Оксфорд назвал его своим почётным доктором... Лавровые венки подносили ему тут и там...

Даже без глянца во всех этих именах, событиях и фактах столько блеска и настоящего, невыдуманного успеха, что невольно замираешь в восхищении. Но, всматриваясь внимательнее в жизнь Тургенева, с удивлением обнаруживаешь какую-то постоянную, тщательно скрываемую за фейерверками словесных фестивалей тоску и неудовлетворённость. Чуткий Василий Розанов, младший современник Тургенева, подытоживая его судьбу, писал: «Тургеневу первому из наших писателей привелось снискать европейскую известность; и когда он достиг её и уже не было времени стремиться ещё к чему-нибудь, он вдруг увидел, что достиг чего-то самого малого: всё же значительное и ценное от него ускользнуло».

Это ускользание главного Тургенев остро сознавал всю жизнь. И не верил своим победам... Не видел в них радости и утешения... Чувствовал, что вихри судьбы всё время вытаскивают его на обочину – и он не может противостоять им. Не хватает воли. А жизнь – большая, истинная, значимая – идёт стороной... Он всё время ощущал себя в партере,

а не на сцене... А хотелось на сцену! И страшно было покинуть благополучный полумрак зала.

И он бегал по улицам революционного Парижа, но лишь в толпе зевак, и страшно перепугался, когда попал вдруг за решётку... Он демонстративно нацепил траурную ленту по смерти Гоголя, но когда его взяли под арест за несанкционированную публикацию некролога, стал оправдываться перед Государем и униженно просить о снисхождении... С охотой согласился войти в состав постоянных авторов некрасовского «Современника», но как только почувствовал, что позиция журнала становится всё более радикальной и революционной, отошёл от него... Он горячо, но тайно сотрудничал с герценовским «Колоколом»... Оглядываясь по сторонам, финансировал эмигрантские издания... Блистая в узком кругу друзей эпиграммами и острыми наблюдениями, в публичных речах терялся, забывал простейшие слова... Покинул родовое гнездо, но своего не создал, примостившись на краешке чужого...

Дружелюбный и незлобивый Тургенев перессорился почти со всеми, с кем начинал свой жизненный путь. С Некрасовым, с Достоевским, с Толстым, с Гончаровым, с Герценом, с Фетом... Замечательно, что под старость он всё-таки со всеми примирился, чему был душевно рад, ибо сам же больше других страдал от этих разладов – почти всегда нелепых и бессмысленных... Во всех этих размолвках видится всё та же неуклюжая попытка выйти на сцену, вырваться к живой жизни, заявить свою личность. И – стусеваться...

Всякий раз, оказываясь на виду, он терялся, робел, порой попросту трусил, спешил за кулису, чтобы оттуда вернуться в покойные кресла зрительного зала и вновь томиться в необъяснимой тоске... Гигант, он хотел быть незаметным, но так, чтобы все это видели... Удивительно, но даже в смерти его проявилась эта противоречивая театральность: он умер в уединении, на даче в Буживале, в присутствии лишь узкого круга близких, а потом в течение почти недели вся Европа – от Парижа до Петербурга – шла поклониться его закрытому гробу, в котором он совершал своё последнее путешествие...

Натура Тургенева парадоксальна и противоречива, начиная с физиологии – его фальцет вызывал изумление у всех, кто впервые сталкивался с этим крупным и дородным мужчиной, – и заканчивая убеждениями... А. В. Дружинин в шутку говорил: «Странно, мы пьём, а подагра у Тургенева!»... Двойственность составляла основу личности Тургенева, определила его судьбу и жизненный путь. Она подтачивала его силы, заставляла оступаться, делать промахи, отравляла праздники и парализовывала будни.

Но та же двойственность, отсутствие твёрдости позиций и чёткости границ позволила Тургеневу развить в себе замечательную широту интересов, с живым участием относиться к самым различным, порой чуждым друг другу лицам и явлениям, выработать предельную объективность взгляда и диалектичность подходов к многообразию и богатству жизненных впечатлений. «Странное дело! – писал Тургенев Герцену, прочитав первые части его мемуарной книги «Былое и думы» и настаивая на том, чтобы он не оставлял работу. – В России я уговаривал старика Аксакова продолжать свои мемуары, а здесь – тебя. И это не так противоположно, как кажется с первого взгляда. И его и твои мемуары – правдивая картина русской жизни, только на двух её концах – и с двух разных точек зрения. Но земля наша не только велика и обильна – она и широка – и обнимает многое, что кажется чуждым друг другу».

Сам он написал необыкновенные «Записки охотника», книгу, вместившую в себя и простодушных идеалистов, и циничных прагматиков, степенных мудрецов и безалаберных пустословов, хитрых пройдох и легковёрных простаков, покорных рабов и отчаянных правдолюбцев... Крестьян, помещиков, чиновников, мещан – разного достатка и промысла, порядка и произвола... Мужиков и баб, стариков и малых деток... Поля, овраги, леса, перелески, болота и реки... Небо – палящее зноем и в звёздном убранстве ночи... Весь непонятный, вопреки всем законам, а иногда и здравому смыслу живущий, любящий, верящий

и надеющийся мир коренной России – православной, языческой, косной и просвещённой Руси...

Острым глазом охотника подмечал Тургенев самые разные черты русской жизни и мастерским своим пером запечатлевал их в очерках, повестях, романах. И в созданных правдивой кистью образах обретал свободу, силу и отвагу быть на виду... Жить полной жизнью... Под крики «Автора!» с улыбкой смущения смело выходить на сцену.

По счастливому выражению Станислава Лесневского, Тургенев – наше «окно в Россию». Он, проживший полжизни за границей, всегда оставался русским и «обнимал многое, что кажется чуждым друг другу». В этом смысле он был фигурой не менее пророческой, чем Достоевский. От рождения большой и видный, наделённый недюжинным дарованием, откликающийся на всё с живым участием, добродушный, щедрый, влюблённый, с внешним радушием принятый европейскими друзьями и – одновременно – сомневающийся и нерешительный, непрактичный, исполненный душевных противоречий, подтачиваемый изнутри многими болезнями, безвольный и покорный судьбе, всегда на краю событий, лишний, мешающий и досаждающий своей индивидуальностью «Гамлет Щигровского уезда», «баден-баденский Калиныч», Тургенев являет собой законченное воплощение не только русского человека, но шире – русского мира, каким он был накануне великих потрясений. Его мучительный финал – прообраз катастроф, постигших Россию в XX веке, предвестие «ракового корпуса» русской истории.

Павел Фокин

Личность

Облик

Мемуаристка Е. М., дальняя родственница И. С. Тургенева:

На одном из балов у губернского предводителя дворянства, Н. А. Небольсина, вижу, что Николай Тургенев пробирается через толпу ко мне, [ведя] с собою высокого, широкоплечего юношу: лицо его полное, красноватое, волосы черные, курчавые (вероятно, завитые по тогдашней моде), глаза смотрят несколько презрительно.

– Позвольте представить вам моего брата, – сказал Николай Тургенев, подходя ко мне.

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892), поэт:

В комнату вошел высокого роста молодой человек, темнорусый, в модной тогда «листовской» прическе и в черном, доверху застегнутом, сюртуке.

Иван Иванович Панаев (1812–1862), писатель, журналист, мемуарист, соредактор журнала «Современник» (1847–1862):

Я встречал, еще до моего знакомства с ним, довольно часто на Невском проспекте очень красивого и видного молодого человека с лорнетом в глазу, с джентльменскими манерами, слегка отзывавшимися фатовством. Я думал, что это какой-нибудь богатый и светский юноша, и был очень удивлен, когда узнал, что это – Тургенев.

Людвиг Пич (1824–1911), немецкий литератор, критик, художник-рисовальщик, друг И. С. Тургенева:

В первый раз встретился с ним в незабвенный для меня ноябрьский вечер 1846 года, в Берлине, на лестнице старой газетной читальни Юлиуса, на углу улиц Обервальштрассе и Егерштрассе. Спускаясь по лестнице, я остановился, как бы очарованный видом могучей фигуры и лица молодого иностранца, закутанного в шубу и подымавшего мне навстречу. Никогда я не испытывал подобного впечатления от одной наружности человека; никогда мое чувство не подсказывало мне так непосредственно и инстинктивно: «Это необыкновенный человек!» <...> Тогда его волосы, поседевшие после 1868 года, были еще темно-русыми и, вместо бороды, только короткие русые усы затеняли его верхнюю губу. Головой и ростом он напоминал нам Петра Великого в молодости, хотя он и не имел ничего общего с полудикой и необузданной натурой великого преобразователя России. Эти массивные голова и тело вмещали в себе утонченный ум, добрую и мягкую, гуманную душу.

Валериан Александрович Панаев (1824–1899), инженер-путеец, двоюродный брат писателя И. И. Панаева, мемуарист:

По внешности Тургенев был очень представительный молодой человек большого роста, весьма приятной наружности, с особенно мягкими глазами, характеризовавшими его лицо. Он принадлежал к родовитой, богатой семье, получил блестящее образование, побывал уже за границей и посещал высший круг. Помню как теперь, что я увидал Тургенева у Ивана Ивановича первый раз приехавшим после светских визитов и одетым в синий фрак с золотыми пуговицами, изображающими львиные головы, в светлых клетчатых панталонах, в белом жилете и в цветном галстуке. Такого рода была в то время мода.

Иван Александрович Гончаров (1812–1891), писатель, автор романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»:

(1847). Вглядываясь в черты его лица, я нашел их некрасивыми; и именно аляповатый нос, большой рот, с несколько расплывшимися губами, и особенно подбородок придавал ему какое-то довольно скарредное выражение. Меня более всего поразило его неровный, иногда пискливый, раздражительно-женский, иногда старческий, больной голос, с шепелявым выговором. Зато глаза были очень выразительны, голова большая, но красивая, пропорциональная корпусу, и вообще все вместе представляло крупную, рослую и эффективную фигуру. Волосы до плеч. После, поседевший весь, он стал носить бороду, которая и скрывала его некрасивый рот и подбородок.

Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891), писатель, литературный критик, публицист, религиозный мыслитель:

(1851). Росту он был почти огромного, широкоплечий; глаза глубокие, задумчивые, темно-серые; волосы были у него тогда темные, густые, как помнится, несколько курчавые, с небольшой проседью; улыбка обворожительная, профиль немного груб и резок, но резок барски и прекрасно. Руки как следует красивые, «des mains soignées»¹, большие, мужские руки. Ему было тогда с небольшим 30 лет. Одет на нем был темно-малиновый шелковый шлафрок и белье прекрасное. Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность полюбил бы его.

Павел Михайлович Ковалевский (1823–1907), очеркист, поэт, прозаик, мемуарист:

(1850-е). Тургенев был изящен по манерам, тонок по обращению (когда не ломался), по вкусам, но уж отнюдь не по чертам лица, которые были крупны все, кроме глаз, не по складу тела, тяжелого и мешковатого. За улыбку этих маленьких светлых подслеповатых глаз женщины обожали его, как мужчину, мужчины, – почти как женщину. И точно, улыбались эти глаза совсем особенно, по-тургеневски: так ни у кого они не улыбались...

Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) Гонкуры, французские писатели. Из дневника:

28 февраля 1863. Это очаровательный колосс, нежный беловолосый великан, он похож на доброго старого духа гор и лесов, на друида и на славного монаха из «Ромео и Джульетты». Он красив какой-то почтенной красотой, величаво красив, как Ньеверкерк (французский скульптор. – Сост.). Но у Ньеверкерка глаза цвета голубой обивки на диване, а у Тургенева глаза как небо. Добродушное выражение глаз еще подчеркивается ласковой напевностью легкого русского акцента, напоминающей певучую речь ребенка или негра.

Наталья Александровна Островская (урожд. Татаринова; 1840–?), мемуаристка:

Он, как известно, был хорош собой, – но красота его состояла не в правильности черт лица, не в стройности сложения: она состояла в каком-то благородстве осанки, в милой улыбке, в гриве седых волос, откинутых назад над прекрасной формы лбом, и, главное, – в привлекательности взгляда. Глаза его не были ни огромны, как уверяет Доде, ни даже особенно красивы, – но умные, проницательные, честные, добрые: глаза очень, очень хорошего человека. Лучший его портрет, по-моему, тот, который снят у Бергамаско (итальянский фотограф. – Сост.), en face; на нем он вышел именно таким, каким бывал, когда находился в духе: со смеющимся, ласковым взглядом, с добродушной, доброжелательной улыбкой;

¹ Холеные руки (фр.).

вышла даже та прядь волос, которая вечно падала ему на лоб, чуть только он разговорится или взволнуется.

Марк Матвеевич Антокольский (1843–1902), скульптор:

Я сейчас узнал его по фотографической карточке, имевшейся у меня в альбоме. «Юпитер!» – было первое мое впечатление. Его величественная фигура, полная и красивая, его мягкое лицо, окаймленное густыми серебристыми волосами, его добрый взгляд – имели что-то ласкающее, но вместе с тем и что-то необыкновенное; он напоминал дремлющего льва: одним словом, Юпитер.

Генри Джеймс (1843–1916), американский писатель:

Тургенев был чрезвычайно высокого роста и обладал широким здоровым телосложением. Голова его была поистине прекрасна, и хотя черты лица не отличались правильно-стью, оно обладало большой оригинальной красотой. У него была чисто русская физиономия с чрезвычайно мягким выражением, и в его глазах – самых добрых глазах в мире – светилась глубокая печаль. Обильные, прямо ниспадавшие волосы были белы, как серебро, такова же была и борода, которую он носил коротко подстриженной. Во всей его высокой фигуре, производившей впечатление, где бы она ни появлялась, чувствовалось присутствие неизрасходованной силы.

Эдмон Гонкур. Из дневника:

2 марта 1872. Тургенев – кроткий великан, любезный варвар с седой шевелюрой, ниспадающей на глаза, с глубокой морщиной, прорезавшей лоб от одного виска до другого, подобно борозде от плуга.

Ги де Мопассан (1850–1893), французский писатель:

Ивана Тургенева я увидел впервые у Густава Флобера.

Дверь отворилась. Вошел великан. Великан с серебряной головой, как сказали бы в волшебной сказке.

У него были длинные седые волосы, густые седые брови и большая седая борода, отливавшая серебром, и в этой сверкающей снежной белизне – доброе, спокойное лицо с немного крупными чертами. Это была голова Потока, струящего свои воды, или, что еще вернее, голова Предвечного отца.

Тургенев был высок ростом, широкоплеч, сложения плотного, но не тучного, – настоящий колосс с движениями ребенка, робкими и осторожными. Голос его звучал очень мягко и немного вяло, словно язык был слишком тяжел и с трудом двигался во рту.

Хьялмар Хьорд Бойсен (1848–1895), американский писатель:

Его голубые глаза имели прекрасное доброе выражение, но полузакрытые веки придавали ему легкий оттенок лени, которая, по его собственным словам, не была чужда ему. Седые волосы, откиннутые назад, выказывали высокий массивный лоб, а нависшие брови говорили (если верить френологам) о сильно развитых артистических чувствах.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921), писатель, журналист, мемуарист:

В целой тысяче иностранцев он всегда выделялся не одной только своей огромной фигурой и живописной головой, а манерой держать себя, особенным выражением лица, интонациями голоса. Такому голосу при подобной фигуре у иностранцев трудно сложиться; он был бы непременно сильнее, гуще или жестче, вообще гораздо эффектнее. Звук остался чисто русский: слабоватый, более высокий, чем можно было ожидать от такого тела, и опять-

таки барский, а не чиновничий, не профессорский, даже не литераторский, если взять среднюю манеру говорить петербургского журналиста за последние тридцать лет. Тургенев немного шепелявил, не так резко, как, например, покойный актер Шуйский или Павел Васильев, но с прибавкою чуть заметного звука с. Это недостаток тоже дворянский, а не чиновничий и не купеческий. Но слабый голос и такая особенность произношения делали разговор Тургенева проще и привлекательнее. Иначе блеск его ума, художественная объективность и меткость определений выходили бы слишком красивы, стесняли бы собеседника своей старательной, мастерской отделкой. Очертание головы в последние двадцать лет оставалось то же; волосы и бороду Тургенев носил без перемены прически. Манера держать ее была также барская; но вся голова, особенно в последние годы, напоминала русские деревенские типы: благочинных, бурмистров, стариков пчелинцев. И между родовитыми купцами попадаются такие лица. Народность в тесном смысле, то есть связь с крестьянским людом, сказывалась всего больше в некоторых особенностях лица, в складках лба, в бровях, в выражении и посадке глаз, в носе, уже совершенно не имевшем ничего западноевропейского. И несмотря на то, что руки и ноги у Тургенева были большие, походка замедленная и тяжеловатая, в нем жил настоящий барин, все приемы которого дышали тем, что французы называют *distinction*², с примесью некоторой робости.

Сергей Львович Толстой (1863–1947), старший сын Л. Н. Толстого:

Он показался мне великаном – великаном с добрыми глазами, с красноватым лицом, с мягкими, как мне казалось, мускулами ног и с густыми, хорошо причесанными, белыми, даже желтоватыми волосами и такой же бородой. Сравнительно с ним отец мне показался маленьким (хотя он был роста выше среднего) и моложе, чем он был. Правда, Тургеневу было шестьдесят лет, а отцу – пятьдесят. Но Тургенев был совсем седой, а у отца были темные волосы без проседи. <...>

Тургенев привез с собою прекрасные дорожные вещи: дорогой кожаный чемодан, изящный несессер, две щетки слоновой кости и пр. Я помню его бархатную куртку, такой же жилет, шелковый галстук, мягкую, тоже, кажется, шелковую рубашку и двое прекрасных золотых часов. Часы он с удовольствием показывал и говорил, что они – хронометры, что он вообще любит хорошие часы и наблюдает за тем, чтобы они ходили верно и одинаково, минута в минуту. Еще у него в кармане была изящная табакерка с нюхательным табаком. <...> На ногах у него были мягкие сапоги с очень широкими носками: такие сапоги он носил по причине своей подагры.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая (1864–1950), старшая дочь Л. Н. Толстого:

Большое лицо его было окаймлено густыми белыми кудрями, глаза его глядели добро и ласково. Но в выражении их чувствовалось утомление, и он казался старше своих лет. Когда ничего его не воодушевляло, огромная фигура его горбилась, глаза потухали и смотрели безучастно. Этот контраст между его веселым характером, живыми манерами, блестящим разговором и внутренней грустью, которая иногда проскальзывала в его речах и часто сквозила во взгляде и выражении глаз, был самой характерной его чертой.

Петр Алексеевич Кропоткин, князь (1842–1921), общественный деятель, публицист, историк, мемуарист:

Внешность Тургенева хорошо известна. Он был очень красив: высокого роста, крепко сложенный, с мягкими седыми кудрями. Глаза его светились умом и не лишены были юмористического огонька, а манеры отличались той простотой и отсутствием аффектации, кото-

² Изысканность (фр.).

рые свойственны лучшим русским писателям. Голова его сразу говорила об очень большом развитии умственных способностей; а когда после смерти И. С. Тургенева Поль Бер и Поль Реклю (хирург) взвесили его мозг, то они нашли, что он до такой степени превосходит весом наиболее тяжелый из известных мозгов, именно Кювье, что не поверили своим весам и достали новые, чтобы проверить себя.

Павел Михайлович Ковалевский:

Последняя моя встреча с Тургеневым была осенью 1881 г., в Петербурге, в магазине Овчинникова, где он покупал для Парижа серебряные вещи в русском стиле. Никогда еще я не видел его в таком цвете здоровья. Это был в полном смысле слова розовый, отлично выкормленный, моложавый старик, с блестящими жизнью глазами, которому готовилась Гетевская старость, что я ему и выразил.

— Да, я таки понабрался черноземного здоровья в деревне, — хвалился он, — и совершенно собою остаюсь доволен...

Характер

Павел Васильевич Анненков (1813–1887), критик, историк литературы, мемуарист, многолетний друг И. С. Тургенева:

Образец гуманности, Николай Владимирович Станкевич, хорошо знавший Тургенева в Берлине, предостерегал своих приятелей в Москве не судить о нем по первому впечатлению. Он соглашался, что Тургенев неловок, мешковат физически и психически, часто досаден, но он подметил в нем признаки ума и даровитости, которые способны обновлять людей.

Алексей Дмитриевич Галахов (1807–1892), историк литературы, профессор Московского университета, мемуарист:

Независимо от крупного таланта, он сам по себе, своею личностью, с первого раза привлекал к себе искренно и крепко. Тайна влечения объясняется его мягкостью и добротою, а потом капитальным образованием. В нем не было покушений на нетерпимость. Случалось нередко, что в литературных спорах он становился скорее на сторону защиты, чем на сторону нападения. Даже в карточной игре, когда плохой партнер делал промахи, у него всегда находились в запасе «обстоятельства, смягчающие вину».

Дмитрий Васильевич Григорович (1822–1899), писатель, мемуарист, многолетний друг И. С. Тургенева:

Характер Тургенева отличался полным отсутствием задора; его скорее можно было упрекнуть в крайней мягкости и уступчивости.

Елена Ивановна Апрелева (урожд. *Бларамберг*, псевд. *Е. Ардов*; 1846–1923), писательница, переводчица, мемуаристка:

Он был и остался большим барином в силу своего происхождения и той сферы материального обеспечения, в которой вырос, в силу привычки благовоспитанности, от которой не мог, да и не желал отрешаться; но барство его проявлялось не в оскорбительном высокомерии в обхождении с теми, кто стоял ниже по происхождению или состоянию, а в безразличном отношении ко всему мелкому, пошлому, наглому, лживому и продажному.

Генри Джеймс:

Он, отличаясь такой простотой, естественностью, скромностью, таким отсутствием каких-либо личных претензий, так лишен был сознания своей силы, что иногда на мгновение думалось, действительно ли пред тобой гениальный человек? Все хорошее, все плодотворное было близко ему: казалось, он интересовался всем на свете и в то же время в нем ни на мгновение не проявлялось той самоуверенности, какая обыкновенно присуща не только людям, пользующимся действительной славой, но и всякого рода мелким «известностям». В нем же не замечалось ни капли тщеславия, стремления «поддержать свою репутацию», «играть роль». Его юмор нередко обращался на него самого, и он с веселым смехом рассказывал анекдоты о самом себе. <...> Я живо помню улыбку и тон голоса, с которыми Тургенев однажды повторил выразительный эпитет, приложенный к нему Густавом Флобером, эпитет, долженствовавший характеризовать расплывчивую мягкость и нерешительность, преобладавшие в натуре Тургенева, как и в характерах многих из его героев. Он искренне наслаждался остротой Флобера и признавал в ней значительную долю правды. Вообще, он был необычайно естествен; скажу больше, – я никогда еще не встречал человека, обладавшего в такой степени этим качеством. Как и у всех незаурядных натур, в нем сов-

мешались многие противоположные черты и в нем особенно поражало сочетание простоты с самой утонченной культурой.

Дмитрий Васильевич Григорович:

Недостаток воли в характере Тургенева и его мягкость вошли почти в поговорку между литераторами; несравненно меньше упоминалось о доброте его сердца; она между тем отмечает, можно сказать, каждый шаг его жизни. Я не помню, чтобы встречал когда-нибудь человека с большею терпимостью, более склонного скоро забывать направленный против него неделикатный поступок. <...>

В натуре Тургенева не было ничего агрессивного, не было признака того, что называется задором; его, напротив, можно было упрекнуть в излишней уступчивости, даже против тех, кто не стоил его мизинца, не мог равняться с ним ни в каком отношении.

Генри Джеймс:

Тургенев был способен краснеть, как 16-летний юноша. Он не любил условных форм и церемоний, что же касается его «манер», то, вследствие присущей ему простоты и естественности, таковых у него не было. Он всегда был самым собой. Все, что бы он ни делал, дышало простотой; если он ошибался и ему указывали на ошибку, Тургенев принимал такое указание без тени раздражения или неудовольствия. Дружелюбный, искренний, благосклонный, Тургенев прежде всего производил впечатление человека неисчерпаемой доброты, и это впечатление выносили все знавшие его.

Ги де Мопассан:

Доводя свою скромность почти до смирения, он не желал, чтобы о нем писали в газетах, и не раз бывало, что статьи, в которых его восхваляли, воспринимались им как оскорбление, ибо он не допускал, что можно писать о чем-либо, кроме литературных произведений. Даже критика литературного творчества казалась ему простой болтовней, и когда какой-то журналист в статье по поводу одной из его книг сообщил некоторые подробности о нем самом и его частной жизни, он пришел в настоящее негодование, испытывая своего рода стыд писателя, у которого скромность кажется целомудрием.

Алексей Дмитриевич Галахов:

По доброте своей Тургенев оказывал помощь своим товарищам по ремеслу, то есть ссужал их деньгами во дни безденежья. Однажды я застал его за письменным столом с реестром в руках. На вопрос мой: «Чем вы занимаетесь?» – он отвечал: «Да вот свожу итог деньгам, взятым у меня займы такими-то и такими лицами». – «Сумма немалая», – заметил я. «Конечно, так; но знаете ли что? Я нисколько не раскаиваюсь в ссудах: я уверен, что каждому лицу, означенному в реестре, ссуда принесет пользу, поправит его временную нужду. За одного только должника не ручаюсь; боюсь, что помощь не пойдет ему впрок...» И он указал мне на означенном реестре: А. А. Г<ригорье>ву (столько-то).

Марк Матвеевич Антокольский. *Из письма Е. Мамонтовой:*

Раз я пришел к нему и застал его грустным, что редко случалось. «Представьте себе, – сказал он мне, – сегодня в первый раз в жизни я должен был отказать человеку в помощи». Замолчал, пожал плечами и прибавил: «Ничего не поделаешь», – и опустил голову... Видно, что тяжело ему было отказать человеку, который протянул ему руку. И. С., как видите, никому никогда не отказывал ни в чем.

Дмитрий Васильевич Григорович:

Бескорыстие Тургенева можно причислить к отличительным чертам его характера. <...> Можно привести целый ряд случаев, доказывающих, с какою беспечностью Тургенев относился к денежному вопросу.

Тронутый положением бедного семейного родственника, Ив. Серг. предложил ему заняться управлением имения; желая окончательно успокоить его и упрочить его судьбу, Ив. Серг. поспешил выдать ему, на случай своей смерти, вексель в пятьдесят тысяч. Два года спустя благодарный родственник представил вексель ко взысканию, поставив своего благодетеля в трагическое положение. Ив. Серг. ограничился только тем, что попросил его оставить Спасское и передал его управление другому лицу. После кончины матери Тургенева жена его брата, пользуясь отсутствием Ив. Серг., явилась к нему в дом, забрала оставшееся после покойницы серебро и драгоценности и увезла их. Вернувшись домой, Ив. Серг. не нашел ни одной ложки и должен был снова всем завестись. Из чувства деликатности к брату, который, – думал он, – мог не знать о поступке жены, Тургенев шагу не сделал, чтобы вернуть так незаконно отнятое у него имущество. А история его с г. Маляревским, мужем приемной дочери брата Тургенева, оставившего ей после своей смерти восемьсот тысяч, из которых сто тысяч должен был получить Ив. Серг.? Приезжает Тургенев в Москву, чтобы получить свою долю наследства, и едет к г. Маляревскому; тот объявляет ему, что на его долю приходится всего двадцать тысяч. «Как так?» – спрашивает удивленный Тургенев. «А так, – отвечает г. Маляревский, – я нахожу, что для вас и этого слишком еще много!..» – «Ну, – ответил Ив. Серг., – на этот счет позвольте мне думать иначе!» На этом дело и кончилось. А сколько, в явный убыток себе, роздано было им дворовым и крестьянам земли и разных сельских угодьев?

Если б возможно было составить список деньгам, которые Тургенев роздал при своей жизни всем тем, кто к нему обращался, сложилась бы сумма больше той, какую он сам прожил.

Афанасий Афанасьевич Фет:

Тип людей, совершенно равнодушных к материальным своим средствам, готовых горстями разбрасывать свое добро и в то же время скупых на копейки и неразборчивых в источниках нового прилива денег, – далеко не новый... Тургенев самым решительным образом... принадлежал к этому типу.

Дмитрий Васильевич Григорович:

Тургенев представлял исключение между своими собратами. Редко его произведение печаталось прежде, чем он прочтет его кому-нибудь из близких людей, не посоветуется; замечания возбуждали иногда спор, но принимались всегда без признака самолюбивого укола; рукопись потом сверху донизу перечитывалась, исправлялась и часто переписывалась заново.

Павел Васильевич Анненков:

Он радовался всякому разбору своих произведений, выслушивал его с покорностью школьника, обнаруживая и готовность исправления. Одного замечания о неуместности сравнения Хоря и Калиныча с Гете и Шиллером, допущенного им, достаточно было, чтобы сравнение осталось только на страницах «Современника» 1847, где впервые явилось, и не перешло в следующие издания. Вообще говоря, нельзя было никогда угадать, куда увлечет его голова, работающая в различных направлениях, но можно было указать, зная его прямое сердце, место, где он остановится. Было что-то женственное в этом сочетании решимости и осторожности, смелости и расчета, одновременной готовности на почин и на раскаяние, сообщавшее прелесть его меняющемуся существованию.

Уильям Рольстон (1829–1889), английский славист, переводчик:

За все время нашего знакомства я никогда не слышал от него ни слова, в котором сквозила бы хотя тень зависти или высокомерия. Никто не был способен с такой готовностью, как он, признать и поощрить нарождающийся талант, оценить достоинства своих преуспевающих соперников, как живых, так и умерших. Его кротость по отношению к тем, кто иногда осмеливался порицать его, была поистине удивительна, и малейший знак восхищения всегда был для него неожиданностью. Как и покойный Дарвин, он постоянно бывал слегка удивлен всяким доказательством уважения к нему.

Дмитрий Васильевич Григорович:

Строгий к самому себе, он не только был снисходителен к другим, но часто открывал в их произведениях несуществующие достоинства. Стоило ему прочесть повесть или рассказ и показись ему сгоряча, что в том или другом есть проблеск дарования, он носился с ними всюду, торжественно провозглашал рождение нового таланта, спорил, раздражался против недостатка чуткости к художественным приемам и в конце концов, когда убеждался или ему ясно доказывали несостоятельность предмета его увлечения, он охотно признавался в своем заблуждении и сам над собою добродушно подтрунивал.

Генри Джеймс:

Тургенев нередко открывал таланты, из которых потом ничего не выходило. Вероятно, в этом была некоторая доля правды, и если я упоминаю о способности Тургенева увлекаться в этом отношении, то лишь потому, что это была благородная слабость, вытекавшая из его доброты, а не из отсутствия у него художественного вкуса.

Павел Михайлович Ковалевский:

Зато было у него чутье там, где другие ничего не чуяли. Помню его замечательные слова при появлении Льва Толстого: «Вот, наконец, преемник Гоголя и, как и следовало ожидать, несколько на него не похожий».

Дмитрий Васильевич Григорович:

Где бы он ни жил – в Париже или Петербурге, – нельзя было к нему зайти без того, чтобы не встретить множество молодежи обоего пола; раз в Петербурге, направляясь в номер гостиницы, где он жил, мне пришлось проходить по коридору мимо целого ряда таких посетителей и посетительниц, сидевших на подоконниках в ожидании очереди. Его терпимость и снисхождение в этих случаях могли основываться на мягкости характера, готового скорее стеснить себя, чем решиться на отказ, но, во всяком случае, не на желании популяризировать, как распускали слух его недоброжелатели. <...>

В терпимости и снисхождении Тургенев доходил иногда до самоунижения, возбуждавшего справедливую досаду его искренних друзей.

Одно время он был увлечен Писемским. Писемский, при всем его уме и таланте, олицетворял тип провинциального жуира и не мог похвастать утонченностью воспитания; подчас он был нестерпимо груб и циничен, не стеснялся плевать – не по-американски, в сторону, а по русскому обычаю – куда ни попало; не стеснялся разваливаться на чужом диване с грязными сапогами, – словом, ни с какой стороны не должен был нравиться Тургеневу, человеку воспитанному и деликатному. Но его прельстила оригинальность Писемского. Когда Ив. Серг. увлекался, на него находило точно затмение, и он терял чувство меры.

Раз был он с Писемским где-то на вечере. К концу ужина Писемский, имевший слабость к горячительным напиткам, впал в состояние, близкое к невменяемости. Тургенев

взялся проводить его до дому. Когда они вышли на улицу, дождь лил ливнем. Дорогой Писемский, которого Тургенев поддерживал под руку, потерял калошу; Тургенев вытащил ее из грязи и не выпускал ее из рук, пока не довел Писемского до его квартиры и не сдал его прислуге вместе с калошей.

Елена Ивановна Апрелева:

Тургенев не умел отказывать, и если не мог удовлетворить просьбу тотчас же, то давал обещание по возможности ее исполнить. Обещаний своих он не забывал, что мог – делал, и огорчался искренне, если попытки не увенчались успехом.

Олимпиада Васильевна Аргамакова, соседка В. П. Тургеневой по имению:

Кстати, отмечу еще одну особенность характера Ивана Сергеевича. Если случалось, что его глубоко огорчали, то у него на глазах навертывались слезы, и он тотчас уходил в свой кабинет, где оставался до тех пор, пока совершенно не успокоится.

Дмитрий Васильевич Григорович:

Он сам добродушно величал себя «овечьей натурой». Он, кроме того, не был способен к практической деятельности, доказательством чего служат его собственные запутанные дела. <...>

Но слабость характера отличала Тургенева только в делах житейских. Известно, как много нужно силы воли, энергии, твердости, чтобы долгое время неотступно преследовать одну и ту же задачу, бороться против нервного и физического утомления, заставить себя довести до конца продолжительный умственный или художественный труд. С этой стороны, Тургенев – автор многих длинных литературных произведений – подтверждает только факт двойственности в артистических натурах с выдающимся творческим талантом.

Творчество

В. Колонтаева, приживалка в доме В. П. Тургеневой:

Помню также я и то время, когда Иван Сергеевич писал свою вторую поэму «Андрей». Тогда он жил в том же помещении, которое занималось живущими у Варвары Петровны. Он помещался во втором этаже наверху, мы же занимали rez-de-haussee того же флигеля. Летом при томительной духоте в комнате, понятно, окна отворялись как в нашем помещении, так и в его. Вот почему, когда мы расходились уже на покой, каждый в свою половину, мы долго слышали шаги Ивана Сергеевича над нашими головами, потому что он долго не спал и, шагая по своей комнате, как будто что-то читал вслух. Однажды, благодаря открытым окнам в наших комнатах и его помещении, мне, долго не спавшей, удалось сначала убедиться, что читаемое вслух были стихи, а потом, при более напряженном внимании, мне даже удалось записать то, что читалось, так как прочитанное повторялось несколько раз, потом несколько изменялось, вновь прочитывалось, и, уже после окончательных исправлений и поправок, чтец переходил к следующим строфам, которые в свою очередь подвергались той же тщательной отделке и исправлениям. При совершенно тихой летней ночи, когда все спокойно и каждый звук делается осязательно слышен и ясен, мне удалось записать несколько строф из прочитанного Иваном Сергеевичем, и на другой день, встретив его по утру и желая его несколько поинтриговать, я прочла ему мной записанные стихи, выдавая их за свои собственные и испрашивая его о них мнения. <...>

Он был очень удивлен, слушая мое чтение, и немедленно признался, что эти стихи его, но удивился, как они сделались мне известны. Когда я объяснила ему, <...> он очень смеялся и признался, что пишет поэму в стихах под названием «Андрей», что он читает самому себе вслух написанное, чтобы, так сказать, испытать благозвучность стихов и исправить то, что режет ухо и нарушает гармонию стиха...

Иван Сергеевич Тургенев. В записи Х. Х. Бойесена:

Я никогда не могу заставить себя писать, если не имеется для этого внутреннего импульса. Если работа не доставляет мне полного удовольствия, я тотчас же прекращаю ее. Если меня утомляет сочинение повести – значит, и самая повесть должна утомить читателей.

Наталья Александровна Островская:

– Поэты недаром толкуют о вдохновении, – говорил Иван Сергеевич. – Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не внушает им готовых песен, но особенное настроение, похожее на вдохновение, бывает. То стихотворение Фета, над которым так смеялись, в котором он говорит, что – не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет... – прекрасно передает это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать – еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что писаться будет. Вот именно это-то настроение поэты называют «приближением бога». Я, например: какой я творец?..

Мы хотели было протестовать, но он улыбнулся нам и продолжал:

– Я только подобие творца, но я испытывал такие минуты. И эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге, – тут-то и начинается мученье. Вот я вам расскажу, как явилась у меня мысль маленького рассказа, который вы, может быть, помните, – «Ася». Вот как это было. Проездом остановился я в маленьком городке на Рейне. Вечером, от нечего делать, вздумал я поехать кататься на лодке. Вечер был прелестный. Ни об чем не думая, лежал я

в лодке, дышал теплым воздухом, смотрел кругом. Проезжаем мы мимо небольшой развалины; рядом с развалиной домик в два этажа.

Из окна нижнего этажа смотрит старуха, а из окна верхнего – высунулась голова хорошенькой девушки. Тут вдруг нашло на меня какое-то особенное настроение. Я стал думать и придумывать, кто эта девушка, какая она, и зачем она в этом домике, какие ее отношения к старухе, – и так тут же в лодке и сложилась у меня вся фабула рассказа. А то вот еще: в «Затишье», в описании сцены свидания, мне никак не давалось описание утра. Только сижу я раз в своей комнате за книгой, – вдруг точно что-то толкнуло меня – прошептало мне: «Невинная торжественность утра». Я вскочил даже: «Вот они! вот они, настоящие слова!»

– Говорят, Занд, – заметил мой муж, – писала так легко, что излагала свои идеи прямо набело?

– Да, но она долго вынашивала их в себе; у каждого писателя своя манера работать. Со мной бывает разное. Чаще всего меня преследует образ, а схватить его я долго не могу. И странно: часто выясняется мне прежде какое-нибудь второстепенное лицо, а затем уже главное. Так, например, в «Рудине» мне прежде всего ясно представился Пигасов, представилось, как он заспорил с Рудиным, как Рудин отделал его, – и после того уже и Рудин передо мной обрисовался. Иной раз напишешь с вечера сцену, – как будто хорошо, на другой день перечтешь и приходишь в отчаяние: кажется, если бы сам черт на смех водил твоим пером – хуже бы не могло выйти. Так и мучаешься над каждой страницей. Я обыкновенно, когда кончу какую-нибудь вещь, перечту, перепишу и уже больше не перечитываю. Дам сначала прочитать кому-нибудь такому, кто мне правду скажет, – Анненкову, например, – а там уж прямо и отправляю в печать.

Людвиг Пич:

Он был по природе ленив: в его крови глубоко жила «обломовщина». Он брался за перо почти всегда под влиянием внутренней потребности творчества, не зависевшей от его воли. В течение целых дней и недель он мог отстранять от себя это побуждение, но совершенно от него отделаться он был не в силах. Образы, вызываемые личными воспоминаниями, картины, сохранившиеся в его памяти, возникали в его фантазии неизвестно почему и откуда и все более и более осаждали его и заставляли его рисовать – какими они ему представляются, и записывать, что они говорят ему и между собою. Часто слышал я, как он во время этих рабочих часов, под влиянием непреодолимой потребности, запирался в своей комнате и, подобно льву в клетке, шагал и стонал там. В эти дни, еще за утренним чаем, мы слышали от него трагикомическое восклицание: «Ох, сегодня я должен работать!» Раз усевшись за работу, он как бы физически переживал все то, о чем писал.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

– Сочинять, – продолжал он, – я никогда ничего не мог. Чтобы у меня что-нибудь вышло, надо мне постоянно возиться с людьми, брать их живьем. Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности. Так я всегда писал, и все, что у меня есть порядочного, дано жизнью, а вовсе не создано мною. Настоящего воображения у меня никогда не было.

Иван Сергеевич Тургенев. В записи Н. А. Островской:

Всякий раз, как я пробовал писать, задавшись какою-нибудь идеею, – выходило плохо. Выходило хорошо и нравилось только то, что я писал просто, из какого-то глупого удовольствия писать, при этом писать так именно, как я понимал что бы и кого бы то ни было.

Иван Сергеевич Тургенев. В записи Л. Н. Майкова. 1880 г.:

Я не только не хочу, но я совершенно не могу, не в состоянии написать что-нибудь с предвзятой мыслью и целью, чтобы провести ту или другую идею.

У меня выходит литературное произведение так, как растет трава.

Я встречаю, например, в жизни какую-нибудь Феклу Андреевну, какого-нибудь Петра, какого-нибудь Ивана, и представьте, что вдруг в этой Фекле Андреевне, в этом Петре, в этом Иване поражает меня нечто особенное, то, чего я не видел и не слышал от других. Я в него вглядываюсь; на меня он или она производит особенное впечатление. Вдумываюсь, затем эта Фекла, этот Петр, этот Иван удаляются, пропадают неизвестно куда, но впечатление, ими произведенное, остается, зреет. Я сопоставляю эти лица с другими лицами, ввожу их в сферу различных действий, и вот создается у меня целый особый мирок... Затем неожиданно, негаданно является потребность изобразить этот мирок, и я удовлетворяю этой потребности с удовольствием, с наслаждением.

Таким образом, никакая предвзятая тенденция мною совершенно и никогда не руководит.

Иван Сергеевич Тургенев. *В записи Е. И. Цветкова:*

В большинстве случаев я списывал с натуры. Конечно, я не мог списывать целого типа с одного человека. Одну черту берешь с одного, другую подходящую берешь с других. Замечательно, многие скверные черты я брал с людей, которых я просто обожаю; многие гадкие черты брал у самого себя, поймал такую гадину и пришилишь: «на, мол, вот тебе». Конечно, не обходилось и без чистой выдумки, особенно, когда дело касается чувств; возьмешь и рассиропишь себя: «И невольная слеза катится с глаз» и тому подобное.

Иван Сергеевич Тургенев. *В записи Е. М. Гаршина:*

В конце концов мастерство художника в этом и состоит, чтобы суметь наблюдать явление в жизни и затем уже это действительное явление представить в художественных образах. А выдумать ничего нельзя.

Хьялмар Хьорд Бойесен:

<...> Я не знаю, как объяснить вам самый процесс развития характеров в моем уме. Всякая написанная мной строчка вдохновлена чем-либо или случившимся лично со мной, или же тем, что я наблюдал. Не то что я копирую действительные эпизоды или живые личности, – нет, но эти сцены и личности дают мне сырой материал для художественных построений. Мне редко приходится выводить какое-либо знакомое мне лицо, так как в жизни редко встречаешь чистые, беспримесные типы. Я обыкновенно спрашиваю себя: для чего предназначила природа ту или иную личность? как проявится у нее известная черта характера, если ее развить в психологической последовательности? Но я не беру единственную черту характера или какую-либо особенность, чтобы создать мужской или женский образ; напротив, я всячески стараюсь не выделять особенностей; я стараюсь показать моих мужчин и женщин не только en face, но и en profil, в таких положениях, которые были бы естественными и в то же время имели бы художественную ценность. Я не могу похвалиться особенно сильным воображением и не умею строить зданий на воздухе.

– Ваши слова, – сказал я, – поясняют мне тот факт, что ваши характеры обладают ярко определенными чертами, запечатлевающимися в уме читателя. Так было, по крайней мере, со мной. Базаров в «Отцах и детях» и Ирина в «Дыме» так же знакомы мне, как мои родные – братья; мне знакомы даже их физиономии, и я гляжу на них как на старых друзей.

– Так же смотрю на них и я, – сказал Тургенев. – Это люди, которых я когда-то знал интимно, но с которыми оборвалось знакомство. Когда я писал о них, они были для меня так же реальны, вот как вы теперь. Когда я интересуюсь каким-либо характером, он

овладевает моим умом, он преследует меня днем и ночью и не оставляет меня в покое, пока я не отделаюсь от него.

Мемуарист Н. М.

«Все мои повести, – говорил он, – или, по крайней мере, детальная сторона их, представляют почти фотографический снимок с того, что я видел и слышал. Я часто соединяю ваше лицо с словами вашего приятеля NN и с жестами Т., но ни того, ни другого, ни третьего не выдумываю, а списываю. После каждой встречи с знакомой и незнакомой личностью я вношу в свою тетрадь все обратившие мое внимание характерные черты наружности и речи моих собеседников. По этим характерным и выдающимся чертам я стараюсь воспроизвести целую фигуру, сливая, где это можно, черты нескольких родственных лиц в одну».

Аделаида Николаевна Луканина (урожд. Рыкачева, во втором браке Паевская; 1843–1908), врач, писательница:

«И я никаких особенных приемов не знаю, – отвечал Иван Сергеевич, – я думаю, что навык приобретается работой. Я скажу вам, как я пишу, то есть писал – теперь я уже давно не пишу ничего. Я делал так: выбрав сюжет рассказа, я брал действующих лиц и на отдельных листках писал их биографии. Затем излагал весь рассказ на двух-трех страницах коротко и просто, ну, как для детей пишут. После этого я уже начинал писать самый рассказ. Из биографий остается очень мало, иногда лица изменяются и по характеру, но такой способ очень помогает. Впрочем, сознаюсь, что постройка повестей, архитектурная сторона их, у меня самая слабая. <...> Затем, когда вы пишете, пишите как можно проще. Мысль может быть какая угодно: чем новее, чем оригинальнее, тем лучше; выражение же ее никогда не должно быть вычурно. Посмотрите у Шекспира: в самых высоких и трагических местах он переходит в прозу. Вычурность, подчеркивания и т. п. большею частью служат прикрытием пошлости и посредственности. Когда вы переписываете свои работы, вычеркивайте не только неясности, но и все то, что вам самой может показаться слишком красиво, что поражает вас самое. Вы, в сущности, сидите с головой во всем том, что описываете, вы не судья, и если вам что-либо особенно нравится, то это нравится вам, автору; читатель может отнестись совсем иначе, ему нет дела до того, что нравится вам лично». <...>

После этого Иван Сергеевич заговорил о том, как вообще пишет художник и как должен писать ввиду цензуры. Вот какой совет он дал мне: «Пишите так, как вам хочется, не урезывайте себя сами, редактор уже выпустит то, что нецензурно. Художник не должен писать в виду чего-нибудь, он передает жизненную правду; в том, во что она складывается, он не виноват; нечего обращать внимание и на то, что говорит критика».

Павел Васильевич Анненков:

Тургенев обладал способностью в частых и продолжительных своих переездах обдумывать нити будущих рассказов, так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горячих бесед кругом себя и часто участвуя в них весьма деятельно.

Генри Джеймс:

Особенно интересны и ценны были замечания и признания Тургенева о методах его творчества. <...> Зародыш повести никогда не принимал у него формы истории с завязкой и развязкой – это являлось уже в последних стадиях созидания. Прежде всего его занимало изображение известных лиц. Первая форма, в которой повесть являлась в его воображении, была фигура того или иного индивидуума, или же комбинация индивидуумов, которых он затем заставлял действовать. <...> Лица эти обрисовывались пред ним живо и определенно, причем он старался, по возможности, детальнее изучить их характеры и возможно

точнее описать их. Для большего уяснения себе он писал нечто вроде биографии каждого из действующих лиц, доводя их историю до начала действия в задуманной повести. Словом, каждое действующее лицо имело у него dossier наподобие французских преступников в парижской префектуре. Запасшись такими материалами, он задавался вопросом: в чем же выразится деятельность моих героев? И он всегда заставлял их действовать таким образом, чтобы пред читателем вполне обрисовался данный характер. Но, как говорил Тургенев, его всегда упрекали в изыках художественной архитектоники произведения, иными словами, композиции, построения.

Лидия Филипповна Нелидова (1851–1936), писательница, мемуаристка:

Он не любил слова «писательница» и говорил, одинаково относя к женщине или к мужчине, что есть «писатель» и у каждого есть муза.

Эдмон Гонкур. Из дневника:

5 мая 1876.

– Мне для работы нужна зима, – говорит Тургенев, – стужа, какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, когда деревья покрыты кристалликами инея... Вот тогда... Однако еще лучше мне работается осенью, в дни полного безветрия, когда земля упруга, а в воздухе как бы разлит запах вина... У меня на родине есть небольшой деревянный домик, в саду растут желтые акации, – белых акаций в нашем краю нет. Осенью вся земля покрывается слоем сухих стручков, хрустящих под ногами, а кругом множество птиц, этих... как бишь их, ну тех, что перенимают крики других птиц... ах, да, сорокопутов. Вот там-то в полном уединении...

Не закончив фразы, Тургенев только прижимает к груди кулаки, и жест этот красноречиво выражает то духовное опьянение и наслаждение работой, какие он испытывал в затерянном уголке старой России.

Свойства ума и мышления

Герман Александрович Лопатин (1845–1919), *политический деятель, революционер, публицист:*

А какая умница был Тургенев! Вы почитайте его переписку с Герценом. Какой проницательный ум! Какое всестороннее, широкое образование! Как знал он литературу не одного своего, но и других народов! Ведь он владел многими языками.

Алексей Дмитриевич Галахов:

Образованием Тургенев несомненно превышал всех своих сверстников-литераторов. Окончив курс в Петербургском университете, он за границей слушал лекции немецких профессоров из школы Шеллинга и Гегеля. Литературы французская и немецкая были капитально ему знакомы. С даром творчества соединялся у него и талант критический, что доказывается суждениями о важнейших поэтических творениях. Мнения его были очень оригинальны, соединяя серьезность немецкой эстетики с ясностью изложения французских критиков.

Генри Джеймс:

Он чувствовал и понимал противулежащие стороны жизни; для догматизма он обладал чересчур живым воображением и большим запасом юмора и иронии. В нем не было ни зерна каких-либо предрассудков. <...> Он обсуждал все явления со свободой, которая всегда производила на меня оживляющее впечатление. Чувство красоты и любовь к правде и справедливости лежали в основе его натуры; но одним из очарований разговора с ним было то, что вы дышали атмосферой, в которой условные фразы и суждения звучали бы нелепостью.

Иван Сергеевич Тургенев. *В записи Х. Х. Бойесена:*

Вы могли заметить, <...> что я не обладаю философским умом. Я лишь гляжу и вывожу мои выводы из виденного мной, я редко пускаюсь в абстракции. Более того, даже абстракции постоянно появляются в моем уме в форме конкретных картин, и когда мне удастся довести мою идею до формы такой картины, лишь тогда я овладеваю вполне и самой идеей. Что подобные картины могут быть вполне иррациональными, я не отрицаю, но они приобретают для меня форму и окраску, перестают быть абстракциями, превращаются в реальности. Европа, например, часто представляется мне в форме большого слабо освещенного храма, богато и великолепно украшенного, но под сводами которого царит мрак. Америка представляется моему уму в форме обширной плодоносной прерии, на первый взгляд кажущейся слегка пустынной, но на горизонте которой разгорается блистательная заря.

Петр Алексеевич Кропоткин:

Он говорил, как и писал, образами. Желая развить мысль, он прибегал не к аргументам, хотя был мастер вести философский спор: он пояснял ее какой-нибудь сценкой, переданной в такой художественной форме, как будто бы она была взята из его повести.

Василий Васильевич Верещагин (1842–1904), *живописец-баталист, писатель, публицист:*

Тургенев с большим интересом рассматривал мои работы. Тогда были уже начаты две, три картины из турецкой войны: из них особенно понравилась ему повозка раненых: каждого из написанных солдатиков он называл по именам. «Вот, это Никифор из Тамбова, а это Сидоров из-под Нижнего и т. п.».

Елена Ивановна Апрелева:

Однажды, возвратясь из Парижа к обеду в «Les Frenes», он рассказывал за столом о разных встречах, впечатлениях и между прочим упомянул, что на одной из улиц он взял фиакр. Проехав немного, он почувствовал сильный запах фиалок. Сначала он думал, что аромат фиалок неся в спущенное окно фиакра из корзины сидевшей где-нибудь невдалеке продавщицы цветов, но никакой продавщицы поблизости не было. Фиалками пахло внутри фиакра; запахом фиалок была пропитана пошлая, обтертая столькими спинами, захватанная столькими руками обивка фиакра. Хорошенькая женщина ехала, верно, перед тем в этом фиакре... Букет фиалок лежал у нее на коленях; фиалки держала она в руках, фиалками благоухала ее одежда... Куда она ехала?.. Одна ли она ехала?.. Что она думала?.. Что чувствовала, когда, вдыхая аромат, прижимала душистые, прохладные фиалки к лицу?.. Грაციозный женский образ, полный поэзии и прелести, уже намечался, готовый войти в «Стихотворения в прозе», но Иван Сергеевич только мимоходом коснулся его, и видение исчезло среди других образов, которые возникали, чередуясь, в его беседе, когда он был в ударе...

Ги де Мопассан:

Он чудесно рассказывал, сообщая самому незначительному факту художественную ценность и своеобразную занимательность, но его любили не столько за возвышенный ум, сколько за какую-то трогательную наивность и способность всему удивляться. И он в самом деле был невероятно наивен, этот гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном. Его удивляли и приводили в недоумение такие вещи, которые показались бы совершенно понятными любому парижскому школьнику.

Собеседник

Людвиг Пич:

В присутствии Тургенева и его близких друзей самый требовательный ум ощущал чувство удовлетворения всех своих желаний и сознания полнейшего счастья. Как ни велико богатство наблюдательности и поэзии, обнаруженное Тургеневым в его произведениях, все-таки оно было только частицей того, что выливалось из его уст в присутствии его друзей, освежая и нежа вас, как тот ручей, которым он так гордился.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Таких собеседников из русских людей его эпохи было всего-то два-три человека, и в том числе Герцен. Но Тургенев имел свою особенность: умение изобразительно-художественной беседы без пылких тирад и проблесков чувства или негодования, но с редким обилием штрихов, слов, определений, жизненных итогов и взглядов на всевозможные стороны литературной и бытовой жизни, на людей, книги, картины, пьесы, русские и западные порядки. Не нужно скрывать и того, что он, при всем своем мягком нраве, доходившем до слабости, бывал иногда весьма ядовит в беседах, рассказах и письмах. <...> Овладевать общим разговором он мог так, что сейчас же начинался его монолог и мог длиться несколько часов сряду. <...> Так содержательно, тонко, правдиво и колоритно рассказывать умел только он.

Владимир Васильевич Стасов (1824–1906), литературный, музыкальный и художественный критик:

В разговоре с Тургеневым для меня было всегда столько обаятельного, прелестного, хотя бы даже он на меня нападал и сердился. Он был так образован по-европейски, он столько интересовался, его разговор был всегда так далек от всего поверхностного, ничтожного, его речь была иной раз так художественна и талантлива – что невольно он к себе притягивал.

Хьялмар Хьорд Бойсен:

Мне кажется, что главным очарованием тургеневской речи было вызываемое ею полное доверие, свободное и естественное течение ясной и сильной мысли, и, пожалуй, больше всего – полное отсутствие в его речи какого-либо усилия, стремления к блеску и эффекту. И вместе с тем разговор не являлся лишь монологом хозяина, нет, – это была настоящая дружеская беседа.

Уильям Рольстон:

Он говорил блестяще, обнаруживая удивительный запас знаний по самым разнообразным предметам; но он никогда один не завладевал разговором и отличался необыкновенным умением внимательно слушать.

Рассказчик

Лидия Филипповна Нелидова:

Рассказывал Тургенев удивительно, красиво и плавно, точно книгу читал.

Людвиг Пич:

Ни у кого, кроме Тургенева, мы не встречали такой утонченности чувств, такого оригинального умения все видеть и подобного искусства все виденное и пережитое представить слушателю вполне наглядно, с живостью и меткой определительностью, со всеми подробностями и со всей привлекательностью и очарованием поэтического изображения, при всей сжатости рассказа.

Евгений Михайлович Феоктистов (1828–1898), редактор «Журнала Министерства народного просвещения», с 1883 г. Начальник Главного управления по делам печати, мемуарист:

Тургенев умел рассказывать как никто. Недаром П. В. Анненков называл его «сиреной»; блестящее остроумие, умение делать меткие характеристики лиц, юмор – всем этим обладал он в высшей степени, а если присоединить сюда обширное образование и оригинальность суждений, то конечно Тургенев был самым очаровательным собеседником, какого мне когда-либо приходилось встретить.

Сергей Львович Толстой:

Он был бесподобным рассказчиком, и мы заслушивались его. То он рассказывал, как, сидя на гауптвахте за статью о Гоголе, он безуспешно заискивал у своего сторожа, здорового унтер-офицера; то он изображал курицу в супе, подкладывая одну руку под другую; то он показывал, как его легавая собака делает стойку; то он описывал свою виллу в Буживале, говоря про семью Виардо и себя – мы; то рассказывал, как в Баден-Бадене он играл лешего в домашнем спектакле у Виардо и как на него смотрели с недоумением.

Батист Фори (1853–1938), генерал:

Когда Тургенев что-нибудь рассказывал, он начинал запинаясь, затем речь его малопомалу крепла, становилась свободной, прояснялась, как после рассеявшегося тумана, и это было просто прелестно.

Алексей Федорович Кони (1844–1927), юрист, общественный деятель, публицист, мемуарист:

Я помню его рассказы о впечатлении, произведенном на него скульптурами, найденными при пергамских раскопках. Восстановив их в том виде, в каком они должны были существовать, когда рука времени и разрушения их еще не коснулась, он изобразил их нам с таким увлечением, что встал с своего места и в лицах представлял каждую фигуру. Было жалко сознавать, что эта блестящая импровизация пропадает бесследно. Хотелось сказать ему словами одного из его «Стихотворений в прозе»: «Стой! каким я теперь тебя вижу – останься навсегда в моей памяти!» <...>

Раза два, придя перед обедом, Тургенев посвящал небольшой кружок в свои сновидения и предчувствия. Это были целые повествования, проникнутые по большей части мрачной поэзией, за которую невольно слышался, как и во всех его последних произведениях, а также в старых – «Призраках» и «Довольно», – ужас перед неизбежностью надвигающейся смерти. В его рассказах о предчувствиях большую роль, как и у Пушкина, играли «суевер-

ные приметы», к которым он очень был склонен, несмотря на свои пантеистические взгляды. <...>

Почти всегда в бодром настроении духа, он бывал в это время неистощим в рассказах из своей жизни и своих наблюдений. Так, например, он рассказал нам, как однажды, идя по улице уездного города (кажется, Обояни или Мценска) вместе с известным по «Запискам охотника» Ермолаем, он встретил одного из местных мещан, которому Ермолай поклонился, как знакомому. «Что это, – спросил Тургенев, когда тот прошел мимо, – лицо-то у него как расцарапано, даже кровь сочится!» – «И впрямь! – ответил Ермолай, – спросить надо. Эй! Семеныч, подожди малость!» И когда они оба подошли к остановившемуся, то Ермолай сказал ему: «Что это у тебя лик-то какой: весь в царапинах?» Мещанин провел рукой по лицу, посмотрел на следы крови на ладони, вздохнул, вытер руку об изнанку полы своей чуйки и, мрачно посмотрев на Тургенева, вразумительным тоном сказал: «Жена встретила!» В другой раз, описывая свое студенческое житье в Петербурге, Тургенев, с удивительной живостью подражая голосу своей квартирной хозяйки-немки, передавал, как она, слушая его ропот на судьбу, не баловавшую его получением денег из отчего дома, говаривала ему: «Эх, Иван Сергеевич, нэ надо быть грустный, man soll nicht traurig sein³; жисть это как мух: пренеприятный насеком! Что дэлайт! Тэмпэйт надо!»

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Считаю жеманством и лицемерием не сказать кстати и того, что Тургенев был весьма не прочь рассказать историю во вкусе Rabelais⁴ и делал это мастерски. В нем в таких случаях сидел настоящий барин XVIII века. Да и вообще идеализм его повестей, оттенок чувствительности и сладкой элегичности почти совсем не являлся в его беседах...

Яков Петрович Полонский (1819–1898), поэт, прозаик, художник-дилетант, многолетний друг И. С. Тургенева:

Впрочем, от тяжелых мыслей был недалек переход и к веселым картинкам нашей земной жизни, к тем картинкам, которые подносят нам римские писатели и французские классики прошлого столетия. Тургенев забыл по-гречески, но латинские книги читал еще легко и свободно. <...>

Старый французский поэт 18-го столетия, отысканный им в своей библиотеке, Жан-Батист Руссо иногда несказанно забавлял его своими коротенькими рассказами в стихах о католических священниках и исповедниках.

Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896), внук А. Н. Радищева, живописец-маринист, основатель Художественного музея им. А. Н. Радищева в Саратове:

Иван Сергеевич, когда бывал в духе, а в особенности за столом, любил рассказывать нецензурные былины. Окруженный молодежью в нашем парижском клубе художников в 18 rue Tilsitt, он бывал тоже очень весел и, сколько могу упомянуть, не раз от него случалось слышать облюбованный им рассказ про бабу, укорявшую при своих товарках прогара-забудыгу мужа, только что пробудившегося с похмелья. Дело шло о том, что хата и семья страдала от разгула отца, пропивавшего частенько не только что сапоги, но даже портки. В таком виде стоит мужик, запустив пятерню в свою волосину, а бабы все галдят вокруг него. Наконец терпение мужика лопнуло, и на все укоры и ругань жены он только ответил: «Ну да, позавчера был пьян и сегодня опохмелился, а не кажинный же день пью, что ты врешь дура –

³ Не надо грустить (нем.).

⁴ Рабле.

х... посудина этакая!» Последнее выражение он считал высокою живописью с натуры русского человека и прибавлял: «непереводимо, сильно и верно!» <...>

Раз как-то <...> Иван Сергеевич слышал рассказ от гр. Григория Александровича Строганова о том, как исправник в мундире и треуголке в каком-то городке России сопровождал его даже в баню. И в то самое время, когда солдат-банщик дошел с мыльной мочалкой до омовения причинного места, бдительно следя в щелку двери, не утерпел, вдруг раскрыл ее и громко сказал: «Осторожно!» – и опять пребывал в прежней дисциплинарной бдительности. «Это, ежели и не с натуры взято, то очень занятно составлено», – сказал Тургенев.

Эдмон Гонкур. Из дневника:

9 марта 1882. <...> От пищи беседа переходит к винам, и Тургенев, со своим неподражаемым искусством рассказчика, изображает нам, словно живописец, легкими мазками, как на каком-то немецком постоялом дворе распивают бутылку необыкновенного рейнского вина.

Сначала описание залы в глубине гостиницы, вдали от уличного шума и грохота экипажей; потом приход степенного, старого трактирщика, который явился сюда в качестве уважаемого свидетеля процедуры; появление дочери трактирщика, похожей на Гретхен, – с добродетельно-красными руками, усеянными белыми пятнами, какие можно видеть на руках всех немецких учительниц... И благоговейное откупоривание бутылки, от которой по всей зале распространяется запах фиалок... Словом, полная мизансцена этого события, рассказ, уснащенный теми подробностями, какие изыскивает наблюдательность поэта.

Василий Васильевич Верещагин:

Рассказ («Мишка». – Сост.) я слышал из уст И. С., и он произвел на меня несравненно большее впечатление, чем в чтении.

Я знал, что Тургенев хорошо рассказывает, но в последнее время он был всегда утомлен и начинал говорить как-то вяло, неохотно, только понемногу входя в роль, оживляясь. В данном случае, когда он дошел до того места, где Мишка ведет плясовую целой компании нищих, И. С. живо встал с кресла, развел руками и начал выплясывать трепака, да ведь как выплясывать! Выделывая колена и припевая: тра-та-та-та-та-та! три-та-та! Точно 40 лет с плеч долой; как он изгибался, как поводил плечами! Седые локоны его спустились на лицо, красное, лоснящееся, веселое. Я просто любовался им и не утерпел, захопал в ладоши, закричал: «браво, браво, браво!» И он, по-видимому, не утомился после этого, по крайней мере, пока я сидел у него, продолжал оживленно разговаривать; между тем, это было очень не задолго до того, как болезнь «схватила его в свои лапы», как он выражался. Зная теперь, что уже в то время два позвонка у него были подточены раком, я просто с удивлением вспоминаю об этом случае.

Эдмон Гонкур. Из дневника:

10 апреля 1883. <...> Обед заканчивается беседой о бедняге Тургенева, которого Шарко считает безнадежным. Все говорят об этом своеобразном рассказчике, о его историях: начало их как будто возникает в тумане и не сулит на первых порах ничего интересного, но потом мало-помалу они становятся такими увлекательными, такими волнующими, такими захватывающими. Словно что-то красивое и нежное, медленно переходя из тени на свет, постепенно и последовательно оживает в своих самых мелких деталях.

Спорщик

Иван Сергеевич Тургенев:

Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит. Но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя.

Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни осталась победа – ты, по крайней мере, испытываешь удовольствие борьбы.

Спорь с человеком ума слабейшего, спорь не из желания победы – но ты можешь быть ему полезным.

Спорь даже с глупцом! Ни славы, ни выгоды ты не добудешь... Но отчего иногда не позабавиться.

Елена Ивановна Апрелева:

Иногда он спорил, и спорил ожесточенно, но никогда не переходил на личность, никогда не оскорблялся колкостями и нападками, часто едкими и не без оттенка раздражения, на его мнения.

Дмитрий Васильевич Григорович:

Я находился в соседней комнате, когда раз начался у него (Л. Толстого. – Сост.) спор с Тургеневым; услышав крики, я вошел к спорившим. Тургенев шагал из угла в угол, выказывая все признаки крайнего смущения; он воспользовался отворенною дверью и тотчас же скрылся.

Афанасий Афанасьевич Фет:

Ожесточенные споры наши, не раз воспроизведенные под другими именами в рассказах Тургенева, оставляли в душе его до того постоянный след, что, привезши мне в 1864 году из Баден-Бадена стихотворения Мерики, он на первом листе написал: «Врагу моему А. А. Фету на память пребывания в Петербурге в январе 1864 г.» <...>

Впоследствии мы узнали, что дамы в Куртавнеле, поневоле слыша наш оглушительный гам на непонятном и гортанном языке, наперерыв восклицали: «Боже мой! они убьют друг друга!» И когда Тургенев, воздевши руки и внезапно воскликнув: «Батюшка! Христа ради, не говорите этого!» – повалился мне в ноги, и вдруг наступило взаимное молчание, дамы воскликнули: «Вот они убили друг друга!»

Владимир Васильевич Стасов:

Нам приходилось вечно спорить, при этом мы иногда сильно раздражались, становились чуть не врагами, много раз закаивались когда-нибудь еще снова вступать в спор, даже уверяли иногда, сердитые при расставанье, что никогда, никогда не станем даже начинать разговора об искусстве, – и все-таки, при первой okazji, снова спорили с ожесточением, чуть не с пеной у рта. <...>

Однако когда мы сошлись на каком-то мнении, я с удивлением указал на это Тургеневу: мы редко были согласны. Он расхохотался, зашагал быстро по комнате в своей толстой мохнатой курточке и плисовых сапогах и, размахивая руками, громовым голосом и комично продекламировал: «Согласны?! Да если б пришла такая минута, когда бы я почувствовал, что в чем-нибудь с Вами согласен, я побежал бы к окну, растворил бы его и закричал бы на улицу проходящим (он в эту минуту подковылял все еще больными своими ногами к окну, на Мойку, и делал жест, будто отворяет его и высовывается на набережную): «Возьмите меня, возьмите меня и свезите меня в сумасшедший дом, я со Стасовым согласен!!!» Я долго хохотал.

тал до слез, чуть не до истерики от восхищения этой талантливой комической выходкой. Тургенев долго хохотал вместе со мною, просто до упаду, и вечер кончился у нас в таком счастливом и веселом расположении духа, как редко случалось.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая:

Другая картина: Тургенев спорит с Урусовым. Они сидят в столовой перед чайным столом. Урусов приходит в такой азарт, что-то доказывая, что соскальзывает со стула, на котором качается, и продолжает, сидя на полу и делая из-под стола жесты, кричать что-то Тургеневу. Но Иван Сергеевич не выдерживает и громко покатывается со смеха, что и прекращает спор, к большому удовольствию Тургенева.

Афанасий Афанасьевич Фет:

На одном из привалов он вдруг предался своей обычной забаве придираться к моей беспамятности с географическими именами, требуя, например, двадцати названий французских городов. На этот раз он требовал только пяти португальских, кроме Лиссабона. «Только пяти», – настойчиво прибавлял он. Назвав Оporto и Коимбру, я было стал в тупик, но вдруг вспомнил урок из арсеньевской географии, и язык мой машинально пролепетал: «Тавиро, Фаро и Лагос – портовые города». – «Ха-ха-ха! – вынужденно захохотал Тургенев, – какой ужасный вздор!» – «Очень жаль, что вы их не знаете», – сказал я, надеясь на своего Арсеньева, как на каменную гору. Тургенев достал памятную книжку и записал города. «Хотите пари?» – «Пожалуй, – отвечал я, – на бутылку шампанского!» – «Нет! – фальцетом протянул Тургенев: – Я хочу пробрать вас хорошенько, – на дюжину шампанского!» – «Это значило бы пробрать вас!» – «Знаем мы эти штуки! – воскликнул Тургенев. – Это незнание в одежде великодушия». Мы ударили по рукам. На другой день Тургенев, подходя ко мне в бильярдной со старою книжкой в руках, сказал: «А ведь шампанское-то я проиграл, ведь вот они в самом деле, эти нелепые города».

Общественно-политические взгляды и убеждения

Людвиг Фридендер (1824–1909), немецкий филолог и археолог, профессор Кенигсбергского университета, знакомый И. С. Тургенева:

Он был совершенно чужд односторонности, партийности. Его отношение к самым разнообразным событиям и направлениям, были ли они ему симпатичны или нет, отличалось такой объективностью, что приводило даже к недоразумениям.

Иван Сергеевич Тургенев. В записи Х. Х. Бойесена:

В юности, когда я учился в Московском университете, мои демократические тенденции и мой энтузиазм по отношению к североамериканской республике вошли в поговорку, и товарищи студенты называли меня «американцем».

Иван Сергеевич Тургенев:

Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал – полоса помещичья, крепостная, – не представляли ничего такого, что могло бы удерживать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования – отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовало очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн – я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда.

Мне и в голову не может прийти осуждать тех из моих современников, которые другим, менее отрицательным путем достигли той свободы, того сознания, к которым я стремился... Я хочу только заявить, что я другого пути перед собой не видел. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, не доставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить.

Евгений Михайлович Феокистов:

В воспоминаниях своих он упомянул, между прочим, что до того времени было у него одно заветное чувство – ненависть к крепостному праву и что он поклялся «Аннибаловою клятвой» всячески преследовать его. Заявление довольно странное в устах Ивана Сергеевича. Если бы Аннибал, глубоко ненавидя римлян, сидел преспокойно в Карфагене, не предпринимал похода в Италию и не прославился бы там чудесами храбрости в борьбе с своими врагами, то ни для кого не было бы интересно, клялся ли он погубить их или нет. Все дело в его подвиге, в том, что клятва не была для него пустым словом, что осуществление ее сделалось задачей его жизни. Уж, конечно, никогда Тургенев борьбу с крепостным правом задачей для себя не ставил. Все образованные люди ненавидели это страшное зло нашего общественного строя, ненавидел его и он; почти во всех лучших литературных произведениях того времени проглядывала более или менее ясно, смотря по цензурным условиям, эта тема; затронув ее в своих «Записках охотника», Тургенев более чем кто-либо производил впечатление на читателей, но это потому, что он был неизмеримо талантливее других.

Никогда, однако, несмотря на Аннибалову клятву, он не увлекался тенденцией, не жертвовал для нее требованиями искусства, ибо был исключительно художником, и всякого рода политические стремления и цели были ему совершенно чужды. Среди тогдашнего избранного кружка не встречал я человека, который, по самой натуре своей, был бы так мало склонен заниматься политикой, как Тургенев, и он сам сознавался в этом. «Для меня главным образом интересно не что, а как и кто». Вот фраза, которую беспрерывно приходилось слышать от него близким ему лицам. На первом плане стояли для него типы, характеры, а вовсе не деятельность сама по себе в том или другом направлении. Так было всегда до того самого времени, когда известная партия, опьянив его похвалами и лестью, навязала Тургеневу совершенно несвойственную ему роль, и он имел слабость поддаться на удочку. Впрочем, кто только не эксплуатировал его! Он сам рассказывал по этому поводу уморительные вещи. Так, например, В. К. Ржевский уж конечно мог быть по всей справедливости причислен к разряду людей, которых принято у нас называть «крепостниками»; это был человек незавидной нравственности, но умный, сведущий и считавшийся одним из корифеев партии, враждебной освобождению крестьян. Когда начались заседания редакционных комиссий, он поспешил в Петербург; по словам его, он объездил почти все гостиницы и нигде не нашел сколько-нибудь удобного приюта, а потому на основании долгого и близкого знакомства с Тургеневым – оба они были орловские помещики – счел за лучшее поселиться у него. Однажды, вернувшись с прогулки, Иван Сергеевич нашел у себя неожиданного сожителя. Но это бы еще ничего.

– Можете себе представить, – рассказывал он, – что вот уже более двух недель, как моя квартира превратилась в главный штаб крепостничества; с утра до ночи приходят к Ржевскому господа, самые имена которых достаточно говорят о том, что они замышляют; человек мой избегался, подавая им чай и закуски; я отлично знаю, что за стеной, рядом с моим кабинетом, вырабатываются планы, придумываются всевозможные каверзы, чтобы затормозить освобождение крестьян, но что хотите – у меня просто не хватает духу отправить их всех к чорту...

Мемуарист Н. М.

Как умный человек, обладавший тонким нравственным и художественным чутьем и разносторонним образованием, Тургенев, ненавидя от души фанатическое византийское славянофильство, приписывающее славянскому или, вернее, русскому племени какую-то провиденциальную роль в истории и стремящееся изолировать его от влияния западной цивилизации, – Тургенев, говорю я, не мог не видеть национальных особенностей племени и не признавать за ними глубокого культурно-исторического значения. Но в то же время, как человек развитый и европейски образованный, как ум, стоящий выше предрассудков, он всем своим существом был предан европейской цивилизации, европейским политическим идеалам и философской мысли и страстно желал широкого и свободного водворения их в своем отечестве. <...>

Едва ли у Ивана Сергеевича была своя определенная политическая программа. В этом отношении он, вероятно, находился всегда под большим или меньшим влиянием своих политических друзей, хотя сам он, как человек, неспособный уложиться в тесные рамки какой-нибудь исключительной политической доктрины, нередко находил их (то есть своих друзей) узкими, чересчур доктринальными и односторонними. Как художнику и поэту ему была присуща способность увлекаться каким-нибудь героическим поступком, какой-нибудь высокой нравственной чертой людей, принадлежащих к несимпатичной ему, даже враждебной, партии, и, вследствие этого, высказывать самые противоречивые взгляды и симпатии. <...>

Тургенев был либерал в самом широком и лучшем смысле этого слова, и ни одному сколько-нибудь здравомыслящему человеку не взбредет в голову заподозрить его в какой бы то ни было прикосновенности к социально-революционным доктринам. <...>

С напряженным вниманием следил Иван Сергеевич по русским и иностранным газетам и журналам за всем, что делается в России, останавливался на каждом безобразном явлении, с желчью указывал на него своим посетителям.

Петр Лаврович Лавров (1823–1900), философ-позитивист, политический эмигрант:

Скептицизм относительно чего бы то ни было действительно полезного для России, способного выйти от кого бы то ни было: от правительства, от либералов или революционеров, составлял основную черту его взглядов на русские дела, хотя при этом он готов был сочувственно отнестись к самому малейшему явлению, которое как будто обещало что-либо, но лишь для того, чтобы, вслед за тем, еще сильнее обрушиться на то, что обмануло его минутные надежды.

Максим Максимович Ковалевский (1851–1916), социолог, юрист, историк, профессор Московского университета:

Нечего и говорить, что Тургенев нисколько не сочувствовал терроризму. Он постарался даже оттенить свое отношение к событию 1 марта 1881 года личным присутствием на панихиде. Когда крестьяне села Спасского обратились к нему с просьбой о денежной помощи на открытие часовни в память Александра II, он не отказал им в их ходатайстве. С другой стороны, он не отказывал также в ссудах без отдачи тем из русских, которые на чужбине оставались без денег, не спрашивая их об их убеждениях.

Петр Алексеевич Кропоткин:

В последний раз я видел И. С. Тургенева не то осенью, не то в июле 1881 года. Он был уже очень болен и мучился мыслью, что его долг – написать Александру III, который недавно вступил на престол и колебался еще, какой политике последовать, указать ему на необходимость дать России конституцию. С нескрываемой горестью Тургенев говорил мне: «Чувствую, что обязан это сделать; но я вижу также, что не в силах буду это сделать». В действительности он терпел уже страшные муки, причиняемые раком спинного мозга. Ему трудно было даже сидеть и говорить несколько минут. Так он и не написал тогда, а несколько недель позже это уже было бы бесполезно: Александр III манифестом объявил о своем намерении остаться самодержавным правителем России.

Эстетические предпочтения и вкусы

Илья Ефимович Репин (1844–1930), живописец:

Тургенев же – особенно вследствие своего аристократизма – был эстет.

Ги де Мопассан:

Он любил музыку и живопись, жил в атмосфере искусства, откликался на все утонченные впечатления, на все неопределенные ощущения, даваемые искусством, и без конца стремился к этим изысканным и редким наслаждениям.

Не было души более открытой, более тонкой и более проникновенной, не было таланта более пленительного, не было сердца более честного и более благородного.

Уильям Рольстон:

Пушкина он чуть ли не боготворил. На смертном одре он высказал своим друзьям, что желал бы лежать возле Пушкина, но что он чувствует себя недостойным такой великой чести и что такое желание слишком дерзновенно с его стороны.

Эдмон Гонкур. Из дневника:

22 марта 1872. Он говорит, что когда ему грустно, когда у него дурное настроение, двадцать стихов Пушкина спасают его от меланхолии, вливают в него бодрость, будоражат. Они приводят его в состояние восхищенного умиления, которого не может у него вызвать никакое великое и благородное деяние. Только литература способна порождать такое просветление духа, и оно сразу же дает себя знать физически приятным ощущением – ощущением тепла на щеках!

Генри Джеймс:

Тургенев придавал очень большое значение форме, хотя и не в такой степени, как это делали Флобер и Эдмон де Гонкур. Среди литераторов он имел вполне определенные и живые симпатии. Он с большим уважением относился к Жорж Санд, главе старой романтической традиции, но уважение это вытекало из общих причин, главную роль среди которых играла личность самой Жорж Санд: Тургенев считал ее чрезвычайно благородной и искренней женщиной. Как я уже сказал, он питал большую привязанность к Густаву Флоберу, который платил ему тем же. <...>

Для Тургенева искусство всегда должно было оставаться искусством вечным и нетленным. Это положение являлось для него аксиомой, не требовавшей доказательств. <...> Он прекрасно знал, что требования уступок в этой области никогда не идут со стороны самих художников, но всегда предъявляются покупателями, издателями, подписчиками и т. п. Он говорил, что не понимает, как повесть может быть нравственной или безнравственной, к ней также странно предъявлять подобные требования, как и к картине или симфонии. <...> Но, конечно, его понимание свободы искусства было несравненно шире понимания его французских собратьев. В нем чувствовалось знание всего огромного разнообразия жизни, знание малодоступных другим явлений и ощущений, чувствовался горизонт, в котором терялся узкий горизонт Парижа, и эта широта знания и понимания выделяла его среди парижских литераторов. За сказанным им чувствовалось много невысказанного.

Максим Максимович Ковалевский:

Из молодых приятелей Флобера Тургенев никого не ценил в такой степени, как Ги де Мопассана. «Из начинающих писателей у нас в России нет ему равного, – сказал он мне однажды. – Пожалуй, Гаршин», – прибавил он, несколько подумавши.

Альфонс Доде (1840–1897), французский писатель:

Из всех мгновений, проведенных вместе с ним, мне особенно запомнился один весенний день на улице Мурильо, сияющий, неповторимый. Разговор зашел о Гете, и Тургенев сказал нам: «Вы его не знаете». В следующее воскресенье он принес нам «Прометея» и «Сатира» – драматическую поэму, вольтерьянскую, кощунственную, бунтарскую. Парк Монсо радовал нас веселыми детскими голосами, ярким солнечным светом, свежестью политых цветов и деревьев, и мы четверо – Гонкур, Золя, Флобер и я, – взволнованные этой величественной импровизацией, внимали гению, переводившему гения. Этот человек, столь робкий, с пером в руке, стоял перед нами как дерзновенный поэт, и мы слышали не лживый перевод, который засушивает и мумифицирует, – сам Гете ожил и разговаривал с нами.

Ги де Мопассан:

Его литературные мнения имели тем большую ценность и значительность, что он не просто выражал суждение с той ограниченной и специальной точки зрения, которой все мы придерживаемся, но проводил нечто вроде сравнения между всеми литературами всех народов мира, которые он основательно знал, расширяя, таким образом, поле своих наблюдений и сопоставляя две книги, появившиеся на двух концах земного шара и написанные на разных языках.

Несмотря на свой возраст и почти уже законченную карьеру писателя, он придерживался в отношении литературы самых современных и самых передовых взглядов, отвергая все старые формы романа, построенного на интриге, с драматическими и искусными комбинациями, требуя, чтобы давали «жизнь», только жизнь – «куски жизни», без интриги и без грубых приключений.

Роман, говорил он, – это самая новая форма в литературном искусстве. Он с трудом освобождается сейчас от приемов феерии, которыми пользовался вначале. Благодаря известной романтической прелести он пленял наивное воображение. Но теперь, когда вкус очищается, надо отбросить все эти низшие средства, упростить и возвысить этот род искусства, который является искусством жизни и должен стать историей жизни.

Уильям Рольстон:

Он основательно знал английскую литературу и глубоко изучил многих старых английских авторов. В его деревенском доме, в Спасском, он показывал мне томы сочинений наших старых драматургов: Бена Джонсона, Бомонта и Флетчера, Мэссинжера и других; Шекспир всегда был его кумиром; до конца жизни он сохранил чувство искреннего восхищения и преклонения перед многими великими английскими писателями. Но тем не менее он был страстным приверженцем своего родного языка, горячим поклонником тех шедевров, которыми русская литература справедливо может гордиться.

Генри Джеймс:

Тургенев знал Шекспира в совершенстве и одно время занимался детальным изучением старой и новой английской литературы.

Афанасий Афанасьевич Фет:

– А что, – говорит, например, Тургенев, – если бы дверь отворилась и вместо Афанасия вошел бы Шекспир? Что бы вы сделали?

– Я старался бы рассмотреть и запомнить его черты.

– А я, – восклицает Тургенев, – упал бы ничком да так бы на полу и лежал.

Петр Лаврович Лавров:

Он лично помог мне своим замечательным знанием Шекспира чуть не наизусть, когда мне пришлось для одной работы искать, куда относятся многочисленные цитаты из Шекспира одного автора, приведенные весьма часто без точных указаний.

Хьялмар Хьорд Бойесен:

Главной темой нашего разговора была американская литература. Из всех американских авторов он наиболее любил Готорна. <...> Он с удовольствием читал Лонгфелло и признавал в нем поэтические достоинства, хотя он следовал за европейскими писателями и лишен был своеобразия отличительного американского характера. Тургенев встречался с Лоуэллом и отзывался с похвалой о его произведениях. Некоторое время его очень интересовали произведения Уолта Уитмена, он думал, что среди вороха шелухи в них были хорошие зерна. Он хвалил Брет-Гарта, думал, что из него мог бы развиться крупный писатель, он боялся, что успех испортит его, лишит способности к самокритике.

Елена Ивановна Апрелева:

Сам он ни на одном инструменте не играл. Любил больше всего Моцарта, Шуберта, затем Шумана, Шопена и не любил Вагнера. У него, по его словам, на первом представлении «Тангейзера», жестоко тогда освищенного, имелся тоже на всякий случай ключ в кармане... Пустил ли он его в дело, не знаю... Помнится, он, смеясь, уверял, что общий пример его увлек... Как бы то ни было, но и впоследствии Вагнер не пользовался его симпатиями и только позднейшими произведениями вызывал в нем некоторый интерес.

Мария Львовна Василенко (*в замуж. Левитон; 1856–1948*), *артистка оперетты, ученица Полины Виардо:*

Любил он музыку страстно и, как m-me Виардо говорила, знал ее. Виардо придавала большое значение его критике. Если, например, приезжала ученица и он ее слышал, то через некоторое время m-me Виардо его спрашивала, как он находит, сделала ли она успехи, и обыкновенно говорила нам, что строгий критик нашел, что я или другая сделала успехи.

Владимир Васильевич Стасов:

Тургенев очень мало знал и еще менее понимал русскую школу, но нелюбовь к ней была у него очень сильна. Он много лет своей жизни провел в Париже, в кругу г-жи Виардо, артистки, бесспорно очень образованной и высокоталантливой, но давно уже остановившейся на вкусах и понятиях времен своей юности и ничем не приготовленной к уразумению тех стремлений, которые одушевляли новую русскую школу. Тургенев вместе с нею продолжал восхищаться только Моцартом и Глюком (которых оперы мадам Виардо сама в прежнее время с громадным успехом пела на театрах Европы), Бетховеном и Шуманом, которых он слышал в парижских и петербургских концертах, но дальше уже не шел и относился с самым враждебным пренебрежением к русской школе, которая не успела еще получить общеевропейского патента и перевоспитываться в пользу которой ему уже было не в пору.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая:

Пение моей тетки он всегда слушал с восторгом.

– Какое мне несчастье! – раз сказал он. – Я больше всякой другой музыки люблю пение, а у меня самого вместо голоса в горле сидит золотушный поросенок.

Людвиг Пич:

В начале семидесятых годов новая страсть развилась у Тургенева, страсть, которая проявляется при продолжительном пребывании в Париже более, чем где-либо, – к собиранию коллекций картин и безделушек. Он сделался одним из постоянных посетителей отеля Друо и магазинов антиквариата в Париже. Его небольшая квартира скоро наполнилась отборными произведениями старой голландской и современной французской живописи, в особенности великих пейзажистов Диаса и Руссо. Коллекция бронзовых и фарфоровых вещей из Китая и Японии каждый год пополнялась новыми дорогими экземплярами.

Илья Ефимович Репин:

По разносторонности своей натуры, он увлекался всем и был всегда независим в своих увлечениях и ценил новизну.

Мировоззрение

Яков Петрович Полонский:

Философские убеждения Тургенева и направление ума его имели характер более или менее положительный и под конец жизни его носили на себе отпечаток пессимизма. Хотя он и был в юности поклонником Гегеля, отвлеченные понятия, философские термины давно уже были ему не по сердцу. Он терпеть не мог допытываться до таких истин, которые, по его мнению, были непостижимы. «Да и есть ли еще на свете непостижимые истины?» Так, например, он любил слово «природа» и часто употреблял его и терпеть не мог слова «материя»; просто не хотел признавать в нем никакого особенного содержания или особенного оттенка того же понятия о природе.

– Я не видал, – спорил он, – и ты не видал материи – на кой же ляд я буду задумываться над этим словом.

И так как в этом не сходились наши воззрения, я отстаивал слова: «материя», «сущность», «абсолютная истина», и проч. и проч.

Сергей Львович Толстой:

Зашел разговор о страхе смерти. Тургенев находил, что страх смерти – естественное чувство. Он сознавался, что боится смерти, и откровенно говорил, что он не приезжает в Россию, когда в России холера. Отец и Урусов говорили, что тот не живет, кто боится смерти. Смерть так же неизбежна, как ночь, зима. Мы готовимся к ночи и зиме; также надо готовиться к смерти, только тогда она не страшна. Тургенев продолжал: «Qui craint la mort leve la main»⁵, – и сам первый поднял руку, но, кроме него, никто руки не поднял. Он сказал: «A se qu'il parait je suis le suel»⁶. Тогда отец тоже поднял руку. Я думаю, что он это сделал не из учтивости, а вспомнив свою арзамасскую тоску – те тяжелые минуты, когда на него находил страх смерти.

Альфонс Доде:

Когда с обсуждением книг и повседневными заботами бывало покончено, беседа принимала более общий характер, мы обращались к вечным вопросам и к вечным истинам, говорили о любви и о смерти.

Русский писатель молчал, вытянувшись на диване.

– А вы что скажете, Тургенев?

– О смерти? Я о ней не думаю. У нас никто ясно не представляет себе, что это такое, – она маячит вдалеке, окутанная... славянским туманом...

Эти слова красноречиво свидетельствовали о характере русского народа и о таланте Тургенева. Славянский туман покрывает все тургеневское творчество, смягчает его, придает ему трепет жизни, даже разговор писателя как бы тонет в этом тумане.

Наталья Александровна Островская:

Пришли музыканты на вокзал, стала набираться толпа. «Смотрите, сколько рож кругом, – сказал Тургенев. – Знаете, как я разочаровался в вечности? Это было дорогой, в дилижансе, – сидел я, сидел, осмотрелся и подумал: неужто все они могут иметь претензии на вечную жизнь! И с тех пор перестал верить в вечность!» – «А прежде верили?» – спросила я. «Ну и прежде-то вера у меня была не очень крепка». – «Если бы верить в вечность, было бы

⁵ Кто боится смерти, пусть поднимет руку (фр.).

⁶ Я, кажется, один (фр.).

слишком страшно умирать», – вырвалось у меня. Тургенев быстро на меня взглянул и призадумался. «Да, – произнес он медленно, – вечность страшна... Как подумать, что все кругом исчезнет, все прежнее, все прошлое, а ты умереть не можешь... Хотя так же и полное уничтожение ужасно...» – «Отчего же, если ничего не будешь чувствовать?» – «Все-таки ужасно!»

Особенности поведения

Ги де Мопассан:

Это был человек простой, добрый и прямой до крайности; он был обаятелен, как никто, предан, как теперь уже не умеют быть, и верен своим друзьям – умершим и живым.

Константин Платонович Ободовский, журналист:

Первое, что бросилось мне в глаза при встречах с Тургеневым – это совершенная простота и полная беспритязательность, с которыми держал себя И. С. <...> Джентльменски вежливый, с полной терпимостью выслушивающий чужие мнения и без малейшего раздражения относившийся ко всякого рода нападкам на него и его литературную деятельность, И. С. производил обаяние на всех окружающих. Добродушие его было замечательно. Иногда он отлично сознавал, например, что его обманывают, но махал рукой и не подавал вида, что замечает обман, делал то, о чем его просили.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами.

Павел Васильевич Анненков:

Он представлял из себя европейски культурного человека, которому нужен был шум и говор большого, политически развитого центра цивилизации, интересные знакомства, неожиданные встречи, прения о задачах настоящей минуты – даже анекдоты и говор толпы, конечно не ради их содержания, а ради того, что они отражают настроение людей, их создавших или повторяющих, и рисуют столько же их самих, сколько и тех, которые сделались предметом их злословия. <...> В натуре Тургенева не было пищи и элементов для долгой поддержки созерцания: он искал событий, живых лиц, волн и разбросанности действительного, работающего, борющегося существования.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Но рядом с этим жило в нем всегда одно, тоже настоящее барское свойство. Это – способность сразу человеку малознакомому говорить о таких обстоятельствах своей жизни, которые обыкновенно усиленно припрятываются.

Евгений Михайлович Феоктистов:

Так, например, я удивлялся, что Иван Сергеевич с особенным удовольствием посвящал не только своих друзей, но и просто хороших знакомых во все подробности родственных своих отношений. Мало ли сколько горечи выносит иногда человек из своей семьи, какие тяжелые воспоминания пробуждают в нем образы близких ему по крови лиц, но я решительно не постигаю, чтобы это могло служить темой для более или менее игривой беседы. А между тем Иван Сергеевич не скупился на рассказы о том, что из нравственной щепетильности следовало бы, кажется, обходить молчанием. И если бы, по крайней мере, эти рассказы были правдивы! Вообще он никогда не довольствовался передачей чего бы то ни было, как оно действительно происходило, а считал необходимым всякий факт возвести в перл создания, изукрасить его, ради эффекта, порядочною примесью вымысла и этим приемом не брезгал, даже изображая портрет своей матери. <...> Он уверял, между прочим, что

в бытность его в сороковых годах за границей, когда средства его были крайне истощены, а рассердившаяся мать не давала ему вовсе денег, вдруг получил он из России посылку. Так как посылка не была франкирована, то он уплатил за нее свои последние гроши и – о ужас! – что же в ней оказалось: ящик был набит кирпичом. Это будто бы m-me Тургенева прибегла к столь замысловатому средству, чтобы заставить его сделать весьма чувствительный для него расход. Все это выслушивалось, конечно, без возражений, ибо тут не мог вставить словечко даже Сальников, который нередко, когда Тургенев с обычным блеском и юмором описывал какое-нибудь из своих приключений за границей, прерывал его замечаниями: «Ах, Иван Сергеевич, ведь это происходило при мне и вовсе не так, как вы рассказываете», – на что сконфуженный Тургенев отвечал: «Охота вам прерывать, уж если все так удачно сложилось в голове».

За матерью следовал отец, за отцом брат, за братом дядя; все они проходили пред слушателями Ивана Сергеевича в далеко не привлекательном виде, каждого из них обрисовывал он с каким-то добродушием, без ожесточения и злобы, как будто это были совершенно посторонние ему лица, и заботился лишь о рельефности красок. Впрочем, он не щадил никого; он мог быть в самых дружеских отношениях с человеком, но это несколько ему не мешало отпускать на его счет язвительные шутки.

Борис Николаевич Чичерин (1828–1904), юрист, философ, публицист, профессор Московского университета:

В мягкой и дряблой душе Тургенева не было места ни для лицемерия, ни для злобы, ни для коварства. Это было поверхностное и даже легкомысленное отношение к людям, податливость всякому минутному впечатлению, а иногда просто игра воображения. Художник по природе и по ремеслу, он главным образом занят был тем, чтобы наблюдать и изображать, и делал это иногда с нарушением всяких нравственных приличий, ибо нравственной сдержки не было никакой. Он в «Муму» описал свою собственную мать в самом отвратительном виде, хотя, говорят, весьма верно. Точно так же и в «Первой любви» он изобразил своего отца с нравственно весьма непривлекательной стороны. Если уже ближайшие к нему люди не ускользали от ударов его кисти, то тем более это могло случиться с его приятелями и знакомыми. Каждая дама, за которою он ухаживал, могла быть уверена, что она появится героиней какой-нибудь его повести. Многим, конечно, это должно было нравиться. <...> Случалось даже, что он про ближайших друзей придумывал самые невероятные анекдоты. В Париже, где мы довольно часто виделись, он как-то рассказывал нам с Ханыковым, что Боткин едет из Италии, расстроив свое здоровье совершенно беспутною жизнью, и при этом рассказал нам черту самого утонченного разврата. Вскоре Боткин приехал, и, когда он стал жаловаться на нездоровье, я заметил ему, что он сам виноват, зачем ведет такую жизнь. «Какую жизнь? – отвечал он, – самую скромную, какую можно придумать». Я сделал намек на черту, рассказанную Тургеневым. «Что вы, что вы! – воскликнул Боткин, – откуда вы это взяли?» Мы переглянулись с Ханыковым и поняли, что это был плод игривого воображения Ивана Сергеевича, который, не имея возможности поместить в повести изобретенный им сальный анекдотец, взвалил его на приятеля. Ввиду таланта ему охотно прощали эти маленькие грешки, тем более что злого умысла тут никогда не было.

Дмитрий Васильевич Григорович:

Ивана Сергеевича часто упрекали в том, что он не стеснялся, когда приходил случай, сочинить эпиграмму на приятеля, сделать на его счет какое-нибудь комическое или едкое сравнение, и приписывали это двуличию его характера. Тургенев действительно был мастер на эпиграмму.

Евгений Михайлович Феоктистов:

Щедро расточал он остроты против всех, окружавших его, и надо сказать, что остроты эти были очень метки.

Батист Фори:

Он часто бывал насмешлив, и его истинная благожелательность не была лишена некоторой язвительности.

Николай Васильевич Щербань (1834–1893), журналист, переводчик:

Тургенев далеко не прочь был пошутить; коротких приятелей любил и подразнить.

Мария Львовна Василенко:

М-me Виардо... рассказывала, что он ужасно любил дразнить всех, и она, как и другие, спасалась от него, напевая ему мотив дуэта из оперы «Линда», который он терпеть не мог.

Елена Ивановна Апрелева:

Смеялся он заразительно, по-детски, обнаруживая белые, частые, мелкие зубы сквозь седые усы, соединявшиеся с серебристо-белою, волнистою, мягкою, как шелк, бородой.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Тургенев был крайне невзыскателен.

Эта «холостая» простота не мешала ему держаться многих чисто европейских привычек в туалете, в еде, в разных деталях нероскошного комфорта. Тонко поесть он любил, и в Париже охотно ходил с знакомыми завтракать и обедать в рестораны, знал, какой ресторан чем славится. Все это без русских замашек угощенья, платил свою долю, по-товарищески, и вообще на такие вещи денег не любил бросать. Насмешка судьбы сделала его данником подагры, а вина он почти не пил. В русской еде выше всего ставил икру и всегда повторял, когда закусывал зернистой икрой, весело озираясь:

– Вот это – дело!

У себя дома Тургенев принимал всех (я говорю о писателях) в ровном настроении, с тем оттенком вежливости, который теперь иным не нравится, но сейчас же, при первом живом вопросе, делался очень общителен.

Елисей Яковлевич Колбасин (1831–1885), беллетрист, сотрудник «Современника», мемуарист:

При этом считаю своею нравственной обязанностью сказать, что Иван Сергеевич во Франции, в Германии и в России, где я с ним жил, отличался замечательной вежливостью со всеми, особенно с простолюдинами, и даже своей прислуге никогда не говорил подай, а обыкновенно употреблял выражение: позволь мне стакан воды и пр.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

В публичных сборищах, на больших обедах, как только нужно ему было подняться с места и связать несколько фраз, никто не поверит, кто слышал его в гостиных, до какой степени он терялся. Целую неделю сидел я рядом с ним за бюро конгресса литераторов. Чтобы сказать три-четыре слова, вроде: «Monsieur X a la parole sur la proposition de la section anglaise»⁷, – он нанизывал, путаясь, множество ненужных слов и вообще как председатель выказывал трогательную несостоятельность.

⁷ Господин X имеет слово для предложения от английской делегации (фр.).

Максим Максимович Ковалевский:

Как председатель Тургенев был из рук вон плох. Абу постоянно дергал его сзади, напоминая ему об его обязанностях. Я не видал его никогда в более затруднительном положении. Он просто недоумевал, что ему делать, чтобы прекратить шум и разговоры в разных концах залы (собрание заседало в Grand Orient! – парижском храме масонов). Он то вставал, собираясь что-то сказать, и не говорил ничего, то давал голос не в очередь и, наконец, к довершению собственного смущения, уронил звонок. «Что это за председатель, – слышались ему голоса соседей, – когда он не умеет даже держать звонка». Бедный Иван Сергеевич стал извиняться, ссылаясь на то, что обстановка, в которой он провел большую часть жизни, не могла приучить его к практике «дебатирующих собраний».

Николай Васильевич Щербань:

Принимая у себя, председательствуя на еженедельных обедах, Иван Сергеевич всегда был говорлив, оживлен, весел. И внезапно его передергивало... По лицу облачком пробегала какая-то тень. Тучка эта <...> наворачивалась неожиданно, безо всякого видимого повода, при полном телесном здоровье данной минуты, посреди самого блестящего, иногда юмористического рассказа. Тургенев на мгновение омрачался, потом, как бы отмахнув что-то от себя или что-то пересилив, становился прежним увлекательным собеседником.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Стыдлив в обнаружении своих душевных волнений Тургенев был настолько, что раз, говоря со мною о работе с секретарем, о диктовке, заметил:

– Я и больной никогда не пробовал диктовать. Как же это?.. Иногда ведь взволнуешься, слезы навернутся... При постороннем совестно станет...

Генри Джеймс:

Все знакомые Тургенева знали, что он обладал особенной способностью запаздывать. Впрочем, этот азиатский порок – неумение распоряжаться временем – свойствен был и другим русским, с которыми я был знаком. Но если даже знакомым и приходилось страдать от этого недостатка Тургенева, о нем вспоминаешь с улыбкой, так как он прекрасно гармонировал с мягкостью Тургенева и его нелюбовью ко всякого рода правилам. <...>

Как бы то ни было, в Париже Тургенев всегда готов был принять приглашение на полу-денный завтрак. Он любил завтракать *au cabaret*⁸ и всегда торжественно обещал прийти к назначенному часу. Но это обещание, увы, никогда не выполнялось. Упоминаю об этой идиосинкразии Тургенева потому, что она по своему постоянству носила забавный характер, – над этим смеялись не только друзья Тургенева, но и сам Тургенев. Но если он, как правило, не попадал к началу завтрака, не менее неизбежно он появлялся к его концу. Друзьям приходилось ждать его, но все же он приходил. Он очень любил парижский *dejeuner*⁹, хотя по соображениям не кулинарного характера. Чрезвычайно воздержанный в пище и питье, он иногда совсем не прикасался ни к чему за столом, но он находил, что это – лучшее время для разговора, и, имея его собеседником, вы, конечно, убеждались в этом.

⁸ В кабаре (фр.).

⁹ Завтрак (фр.).

Озорник и забавник

В. Колонтаева:

Раз по утру, войдя в гостиную, где мы читали сочинения Шатобриана, он стал над нами ходить, что мы читаем такую напыщенную дребедень, называя при этом Шатобриана ходульным писателем. На наш вопрос, что же читать, он советовал Жорж Санд и при этом прибавил, что она великий живописец. Я помню, в это время кто-то из нас стал доказывать Ивану Сергеевичу, что Жорж Санд писательница, а не живописец, над чем он от души хохотал. По-русски же он советовал нам читать «Современник» и указал на «Письма об Испании» Боткина. Вечером того же дня, когда мы все сидели на балконе, Иван Сергеевич вспомнил наш разговор о Шатобриане, побежал в оранжерею, отыскал там старые ходули и, устроившись на них, что ему стоило немалого труда при его росте, стал декламировать, страшно жестикулируя из «Otala» (сочинение Шатобриана). <...> Кончив тираду, он пояснил, что так как Шатобриан ходульный писатель, то и следует его читать на ходулях.

Насколько я помню Ивана Сергеевича в молодости, он редко смеялся, но смешил других, и вообще школьничать было его страстью. Он, например, изображал на своем лице «зарницу и молнию». Фарс этот начинался легким миганием глаз, подергиванием рта то в одну, то в другую сторону, и это с такой неуловимой быстротой, что передать трудно, а когда начиналось подражание молнии, то уже вся его физиономия до того изменялась, что он был неузнаваем, все его лицевые мускулы приходили в такое быстрое и беспорядочное движение, что становилось страшно. Варвара Петровна не любила, когда он выделял этот фарс, и боясь, чтобы он не перекосил себе глаза, не позволяла повторять его часто.

Наталья Александровна Тучкова-Огарева (1829–1913), мемуаристка, жена поэта Н. П. Огарева:

Впоследствии мы жили в одном доме с А. И. и Н. А. Герценами в Париже, и потому Тургенев часто заставлял меня с сестрой у Наталии Александровны. Часто Александра Ивановича не было дома; тогда Тургенев читал мне что-нибудь, при этом если все сидели вместе, то у Тургенева являлись удивительные фантазии: он то просил у нас всех позволения кричать, как петух, влезал на подоконник и действительно неподражаемо хорошо кричал и вместе с тем устремлял на нас неподвижные глаза; то просил позволения представить сумасшедшего. Мы обе с сестрой радостно позволяли, но Наталья Александровна Герцен возражала ему.

– Вы такие длинные, Тургенев, вы все тут переломаете, – говорила она, – да, пожалуй, и напугаете меня.

Но он не обращал внимания на ее возражения. Попросит у нее, бывало, ее бархатную черную мантию, драпируется в нее очень странно и начинает свое представление. Он вскочит себе волосы и закроет себе ими весь лоб и даже верхнюю часть лица; огромные серые глаза его дико выглядывают из-под волос. Он бегал по комнате, прыгал на окна, садился с ногами на окно, делал вид, что чего-то боится, потом представлял страшный гнев. Мы думали, что будет смешно, но было как-то очень тяжело. Тургенев оказался очень хорошим актером; слабая Наталья Александровна отвернулась от него, и все мы вздохнули свободно, когда он кончил свое представление, а сам он ужасно устал.

Афанасий Афанасьевич Фет:

Однажды вечером, сидя на новой террасе перед вновь устроенной Борисовым цветочной клумбой, обведенною песчаной дорожкой, Тургенев стал смеяться над моей неспособностью к ходьбе.

– Где ж ему, несчастному толстяку, – говорил он, – с его мелкой кавалерийской походкой сойти со мною. Это я могу сейчас же доказать на деле. Вот если десять раз обойти по дорожке вокруг клумбы, то выйдет полверсты, и если мы пойдем каждый своим естественным шагом, то я уверен, что кавалерийский толстяк значительно от меня отстанет.

Хотя я и до состязания готов был уступить Тургеневу пальму, но ему так хотелось явиться на глазах всех победителем, что мы пустились кружить по дорожке: он впереди, а я сзади. До сих пор помню перед собою рослую фигуру Тургенева, старающегося увеличить свой и без того широкий шаг; я же, вызванный на некоторого рода маршировку в пешем фронте, вследствие долголетнего обучения, конечно, делал шаг в аршин. Через несколько кругов Тургенев стал видимо отдаляться от меня, как я заметил, к общему удовольствию зрителей. Где источник этого удовольствия? Под конец состязания я на десятом кругу отстал на полкруга, что в целой версте представляло бы от 20 до 25-ти сажен. Явно, что Тургенев делал шаги более чем в аршин.

Яков Петрович Полонский:

(В июле 1881 г. – Сост.) В Спасское приехала М. Г. Савина. <...>

17-го июля Иван Сергеевич, ради своей милой гостью, к вечеру, велел позвать деревенских баб и девок и задал им точно такой же праздник, с вином и подарками, какой был дан им по случаю его приезда. Баб и девок собралось около 70 душ, и опять начались песни и пляски.

Казалось, артистка наша, глядя на них, училась. Невольно иногда повторяла их напевы и движенья и под конец так развеселилась, что чуть не плясала.

– Ишь расходилась цыганская кровь! – сказал мне про нее Тургенев.

Но он и сам был так весел, что готов был отплясывать; он, который, конечно, во всякое другое время не вынес бы моей плохой игры на пианино, тут сам заставил меня играть танцы. Увы! плясовые песни еще кое-как удавались мне, полька тоже кое-как сошла с рук, но мазурка не давалась.

– Играй! – кричал мне Тургенев, – как хочешь, как знаешь, валяй! Мазурку валяй! Лишь была бы какая-нибудь музыка... Ну, раз, два, три... ударение на раз... ну, ну!..

И вечер до чая прошел в том, что все присутствующие, а в том числе и сам хозяин, плясали и танцевали кто во что горазд.

Елена Ивановна Апрелева:

Вскоре после поездки в Абрамцево мы условились ехать в Кунцево. (Летом 1881 г. – Сост.) <...>

Уже стемнело, когда мы сели в карету, чтобы ехать в Кунцево. Темнота усилилась набегавшими облаками. За разговором мы не заметили, что начал накрапывать дождь. Вдруг он хлынул как из ведра. Мы уже доехали до Кунцева, но кучер повернул не туда, куда следовало, и, въехав в какой-то узкий переулок, объявил, остановив лошадей, что не знает, в какую сторону надо теперь свернуть. Тургенев, всю дорогу балагуривший и смешивший меня анекдотами, высунулся наполовину в окно и начал вопить тоненьким голоском:

– Помоги-и-те! Помоги-и-те!

Со всех дачных дворов поднялся неистовый лай собак. В опущенное с моей стороны стекло просунулись растерянные лица двух дворников, а за ними испуганно заглядывали в карету чьи-то другие лица. От смеха я не могла слова вымолвить, а Тургенев, потешаясь произведенным переполохом, все еще вопил, высунувшись в окно:

– Помоги-и-те!

Сергей Львович Толстой:

В этот последний свой приезд (в Ясную Поляну, 22 августа 1881 г. – Сост.) И. С. Тургенев поддался общему настроению нашей молодежи, бесшабашно веселившейся. Как-то вечером затеяли кадрили. Во время кадрили кто-то спросил Ивана Сергеевича, танцуют ли еще во Франции старую кадрили или же ее заменили непристойным канканом.

– Старый канкан, – сказал Тургенев, – совсем не тот непристойный танец, который танцуют в кафешантанах. Старый канкан – приличный и грациозный танец. Я когда-то умел его танцевать. Пожалуй, и теперь потанцую.

И вот Иван Сергеевич пригласил себе в дамы мою двоюродную сестру, Машу Кузминскую, двенадцатилетнюю девочку, и, заложив пальцы за проймы жилета, по всем правилам искусства, мягко отплясал старинный канкан с приседаниями и выпрямлением ног. Кончился этот танец тем, что он упал, но вскочил с легкостью молодого человека. Все хохотали, в том числе он сам, но было как будто немножко совестно за Тургенева.

В этот день отец отметил в своем дневнике: «Тургенев – сапан. Грустно».

В женском обществе

Лидия Филипповна Нелидова:

Играли ли женщины вообще большую роль в жизни Тургенева? Одна женщина – да, но другие? Не могла же знаменитая иностранка, как ни исключительно богата была ее натура, одна заставить его пережить все те оттенки чувства, изображение которых мы находим в его романах. И с кого-нибудь писал же он своих удивительных русских девушек, своих героинь!

Борис Николаевич Чичерин:

Всегда оживленная, мягкая речь его была и разнообразна и занимательна. В женском обществе к этому присоединялись не совсем приятные черты: он позировал, хотел играть роль, чересчур увлекался фантазией, выкидывал разные штуки.

Авдотья (Евдокия) Яковлевна Панаева (*урожд. Брянская, во втором браке Головачева; псевд. Н. Станицкий; 1820–1893*), прозаик, мемуаристка, гражданская жена Н. А. Некрасова:

Идя в темный вечер домой с музыки, надо было переходить дорогу, а из ворот, которые ведут из вокзала в город, неожиданно выехала карета. Сделалось смятение; многочисленное общество дам и кавалеров, шедшее впереди нас, разделилось на две части: одна успела перебежать через дорогу, а другая осталась с нами, и одна дама вскрикнула от испуга, перебегая дорогу. Карета проехала, и мы спокойно продолжали свой путь. На другой день, на музыке, я шла в толпе по аллее; впереди меня шел Тургенев с дамами и рассказывал им, что он, будто бы вчера, спас какую-то даму, которую чуть не задавила карета, остановив лошадей; будто бы с дамой сделалось дурно, и он на руках перенес ее и передал кавалерам, которые рассыпались в благодарностях за спасение их дамы. Когда я стала стыдить Тургенева, зачем он присочинил небывалую историю, то он мне на это ответил, улыбаясь: «Надо было чем-нибудь занять своих дам».

Наталья Александровна Островская:

Наши знакомые дамы вернулись в Россию через три недели после нас. Они рассказали, что Тургенев познакомил их со своим старым приятелем Колбасиным. <...> «Оказалось, что они с Колбасиным с молодости не виделись, – рассказывала одна из дам. – Колбасин рассказывал нам целый роман, – уж не знаю, врал или нет, – будто они были влюблены в одну и ту же особу. Тургенев, как он уверяет, был тогда нехороший с женщинами: кокетничает, кокетничает, влюбит в себя и бросит... И с ней будто он также сделал: влюбил в себя и уехал, и будто она умерла...»

Иван Сергеевич Тургенев. В записи мемуариста Л. А.:

Было это еще во время царствования императора Николая I. Мне пришлось как-то встретиться с графиней Х. Она говорит мне: «А что, можно к вам приехать?» Я отвечаю: – Можно. – «И все можно видеть, во все комнаты входить?» Я говорю: – Да! – Она приехала и осмотрела все. Прошла в спальню. За спальней была темная комната, где стояли сундуки и тому подобное. Она спросила, можно ли туда войти. Я говорю: – Можно. – Когда она все осмотрела, то, выходя, засмеялась и сказала: «А знаете ли вы, что про вас выдумали: будто у вас за спальней есть темная комната, куда вы никого не пускаете, потому что у вас там крепостная любовница на цепи сидит. Когда дамы проезжают мимо вашей квартиры, то показывают на забитое окно этой комнаты и говорят: это вон там».

Яков Петрович Полонский:

Тургенев всегда более или менее оживал в дамском обществе, особенно если встречал в нем ум, красоту и образованность.

Авдотья Яковлевна Панаева:

— Ты ведь понятия не имеешь о светских женщинах, — говорил Тургенев (Некрасову. — Сост.), — а они одни только могут вдохновлять поэта. Почему Пушкин и Лермонтов так много писали? Потому что постоянно вращались в обществе светских женщин. Я сам испытал, как много значит изящная обстановка женщины для нас — писателей. Сколько раз мне казалось, что я до безумия влюблен в женщину, но вдруг от ее платья пахнет кухонным чадом — и вся иллюзия пропала. А сидя в салоне светской женщины, ничто не нарушит твое поэтическое настроение, от каждого грациозного движения светской женщины ты вдыхаешь тончайший аромат... вокруг все дышит изяществом.

Эрнст Карлович Липгарт (1847–1932), живописец-декоратор и портретист:

Немного позже я имел честь встретиться с Тургеневым у княгини Мони Урусовой, и тут я увидел другого человека: брови поднялись до середины лба, открыв большие голубые глаза, светящиеся добротой, оживлением, весельем: дело в том, что Тургенев беседовал с хорошенькими женщинами, наделенными живым и тонким умом; это было настоящее скрещение оружия, о веселом бряцании которого я до сих пор храню чарующее воспоминание.

Эдмон Гонкур. Из дневника:

5 мая 1877. Он уверяет, что любовь — чувство совершенно особой окраски, что Золя пойдет по ложному пути, если не признает эту особую окраску, отличающую любовь от всех других чувств. Он уверяет, что любовь оказывает на человека влияние, несравнимое с влиянием любого иного чувства, что всякий, кто по-настоящему влюблен, как бы полностью отрекается от себя. Тургенев говорит о совершенно необыкновенном ощущении наполненности сердца. Он говорит о глазах первой любимой им женщины как о чем-то совершенно нематериальном, неземном...

Павел Васильевич Анненков:

Никто не замечал меланхолического оттенка в жизни Тургенева, а между тем он был несчастным человеком в собственных глазах: ему не доставало женской любви и привязанности, которых он искал с ранних пор. Недаром повторял он замечание, что общество мужчин, без присутствия доброй и умной женщины, походит на тяжелый обоз с немазаными колесами, который раздирает уши нестерпимым, однообразным своим скрипом. Призыв и поиски идеальной женщины помогли ему создать тот Олимп, который он населил благороднейшими женскими существами, великими в своей простоте и в своих стремлениях. <... > Сам он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею: он мог только измучить ее. Для торжества при столкновениях страсти ему не доставало наглости, безумства, ослепления.

Константин Николаевич Леонтьев:

Однажды я сказал Тургеневу, что люблю и хочу жениться, когда кончу курс. Он испугался за меня и сказал:

— Нехорошо художнику жениться. Если служить Музе, как говорили в старину, так служить ей одной; остальное надо все приносить в жертву. Еще несчастный брак может

способствовать развитию таланта, а счастливый никуда не годится. Конечно, страсть к женщине вещь прекрасная, но я вообще не понимал никогда страсти к девушке; я люблю больше женщину замужнюю, опытную, свободную, которая может легче располагать собою и своими страстями. Жаль, что вы погружены в чувство к одной особе. При вашей внешности, при ваших способностях, если бы вы были больше лихим, – вы бы с ума сводили многих женщин. Надо подходить ко всякой с мыслью, что нет недоступной, что и эта может стать вашей любовницей. Такая жизнь, более буйная, была бы вашему таланту гораздо полезнее... Но что делать?

Эдмон Гонкур. Из дневника:

2 марта 1872. <...>

– Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину... Как это выразить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, какого не может дать ничто другое, не правда ли?

И, погрузившись на минуту в воспоминания, с отсветом счастья на лице, он продолжает:

– Послушайте, в молодости у меня была любовница – мельничиха в окрестностях Санкт-Петербурга. Я виделся с ней, когда ездил на охоту. Она была прелестна – беленькая, с лучистыми глазами, какие встречаются у нас довольно часто. Она не хотела ничего брать от меня. В один прекрасный день она сказала: «Вы должны сделать мне подарок». – «Что же ты хочешь?» – «Привезите мне мыло». Я привез ей мыло. Она взяла его и исчезла, а потом вернулась, покрасневшая от смущения, и прошептала, протягивая мне благоухающие руки: «Поцелуйте мне руки, как вы целуете их дамам в петербургских гостиных!» Я бросился перед ней на колени... И, поверьте, не было в моей жизни мгновения, которое могло бы сравниться с этим!..

Сергей Львович Толстой:

Говоря про француженок, Тургенев сказал: «Насколько русские женщины и девушки образованнее француженок! Точно из темной комнаты войдешь в светлую, когда приедешь в русскую семью». Разумеется, это было сказано в присутствии русских женщин, но я думаю, что Иван Сергеевич говорил искренне, мысленно исключая из своего сравнения госпожу Виардо.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Привязанность к одной особе взяла у него всю жизнь, но не делала его нечувствительным к тому, что немцы называют «das ewige Weibliche»¹⁰. Лучшего наперсника, советника, сочувственника и поощрителя женщин, их таланта и ума трудно было и придумать. Способен он был и стариком откликнуться на обаяние женского существа.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая:

Помню, как раз вечером (летом 1881 г. – Сост.), возбужденные после пения и танцев, мы все, то есть вся молодая компания, сидели кучкой и тихо о чем-то переговаривались. Тургенев увидал нас, подошел и подсел к нам.

– Ну, вот что, – сказал он, – давайте каждый рассказывать о самой счастливой минуте нашей жизни.

Мы решили, что начнет Иван Сергеевич. Он согласился и рассказал нам историю одной своей любви. В начале этой любви он был несчастлив, мучился ревностью и сомнениями,

¹⁰ Вечно женственное (нем.).

но вот раз, взглянув в лицо любимой женщины, он встретил ее взгляд. В нем было столько любви, что Тургенев почувствовал конец своим мученьям, и всю жизнь, вспоминая этот взгляд, считал эту минуту самой счастливой в своей жизни.

После этого рассказа все те из нас, которые были или считали себя влюбленными, дарили или ловили эти взгляды любви, воображая, что переживают самую счастливую минуту своей жизни.

Сергей Львович Толстой:

Вспоминая теперь эти слова Тургенева, я вспоминаю также язвительное суждение о его романах, высказанное недружелюбным его критиком – Н. Н. Страховым: почти во всех романах Тургенева один молодой человек хочет жениться на одной девице и никак не может. Это довольно верно: герои Тургенева влюбляются с юношеской страстью, но не женятся. Но Страхов хотел побранить Тургенева, а вместо этого его похвалил. Тургенев – певец не плотской любви, а чистой, самоотверженной любви, которая может ограничиться взглядами и намеками, но которая нередко, по выражению Мопассана, сильнее смерти. Так он понимал любовь, поэтому ему не было надобности женить своих героев. Он сам до старости лет был тем юношей, который умел любить глубоко и самоотверженно, но никак не мог жениться. Его мать говорила про него: он однолюб, он может любить только одну женщину.

Эдмон Гонкур. Из дневника:

7 сентября 1883. <...> Богослужение у гроба Тургенева вызвало сегодня из парижских домов целый мирок: людей богатырского роста с расплывчатыми чертами лица, бородатых, как бог-отец, – подлинную Россию в миниатюре, о существовании которой в столице и не подозреваешь.

Там было также много женщин – русских, немок, англичанок, благоговейных и преданных читательниц, явившихся принести дань уважения великому и изящному романисту.

С детьми

Алексей Дмитриевич Галахов:

Симпатична и трогательна была привязанность Тургенева к детям. Случалось нередко, что он, приехав на вечер и приняв участие в общей беседе, оставлял ее и подсаживался в другой комнате к какому-нибудь мальчугану или девочке на разговор. Ему интересно было подмечать в них проявление смысла, зародыш какого-нибудь дарования. В таком случае он сообщал родителям свои замечания и советовал им обратить на них внимание. Известно, что для детей он и переводил, и сочинял сказки.

Наталья Александровна Островская:

Постучались в дверь. «Herein, bitte!»¹¹ – крикнул Иван Сергеевич. Вошли два мальчика: один лет двенадцати, другой – постарше. Тот, что помоложе, замечательно хорошенький: личико открытое, наивное, миловидное, глаза темные, большие, ясные, с длинными загнутыми вверх ресницами. Другой некрасивый: крупные черты, цвет лица золотушный, волосы белые с вихрами, но лицо умное. Вошел он степенно, поклонился важно, с чувством собственного достоинства, точно взрослый, очень серьезный человек, но весь вспыхнул до корня волос. Хорошенький же мальчик совсем не конфузился. У него в руках был большой букет. Он сначала представил своего товарища: «Mein bester Freund»¹². Потом он поднял свои глазки на Ивана Сергеевича, который казался великаном перед его маленькой фигуркой, подал букет и сказал, что мама посылает цветы «dem Herrn» в знак приветствия, и велела спросить, когда она может сама прийти пожелать «dem Herrn willkommen in Carlsbad»¹³.

Тургенев поручил «очень, очень благодарить маму и сказать ей, что он во всякое время рад видеть ее. Так как он теперь болен, то будет весь день дома». Затем он посадил своих маленьких гостей, отыскал каких-то леденцов и стал с ними разговаривать. Он расспрашивал, как им нравится Карлсбад, много ли они гуляют, ходят ли они в горы, где они обыкновенно живут, где и чему учатся. Отвечал хорошенький, другой молчал.

Между прочим Иван Сергеевич спросил:

– А когда вы кончите учиться, чем вы намерены заниматься?

– Я еще об этом не думал, – отвечал хорошенький.

– А вы? – спросил Тургенев его товарища.

– Ich will ein Philosoph sein¹⁴, – отвечал тот и опять вспыхнул. <...>

Мальчики посидели, погрызли леденцы и стали прощаться: «Мы еще к вам придем», – объявил хорошенький. «Я буду очень рад», – простился с ними Тургенев.

– Не умею я с большими детьми разговаривать, – сказал Иван Сергеевич, когда они ушли. – С маленькими детьми я люблю возиться. Мне доставляет какое-то физическое наслаждение, когда они по мне лезут, когда их маленькие ручки и свеженькие щечки до меня касаются. А с большими я обращаться не умею; я не умею угадывать, что для них интересно, что нет. И все я боюсь, что говорю с ними недостаточно бережно, боюсь, как бы не оскорбить их детского самолюбия. Ведь чуть ребенок только не глуп, он в известные года становится дик и щекотлив. Плохой знак, если мальчик 15-ти, 16-ти и даже 18-ти лет развязен и самоуверен: почти наверное дурак будет.

¹¹ Войдите (нем.).

¹² Мой лучший друг (нем.).

¹³ Добро пожаловать в Карлсбад (нем.).

¹⁴ Я хочу быть философом (нем.).

Людвиг Фридендер:

Я спросил раз Тургенева, почему в его рассказах не встречаются дети.

– Их очень трудно изображать, – отвечал он. – Вполне естественными они никогда не выходят.

Привычки, обычаи, причуды

Афанасий Афанасьевич Фет:

По природе ли или вследствие долгого пребывания за границей, Тургенев отличался наклонностью к порядку в окружающих вещах. Он не иначе садился писать самую простую записку, как окончательно прибравши бумаги на письменном столе.

Яков Петрович Полонский:

Аккуратность Тургенева не уступала его чистоплотности... Раз он ночью вспомнил, что, ложась спать, позабыл на место положить свои ножницы: тотчас же зажег свечку, встал и тогда только вернулся в свою постель, когда все уже на письменном столе его лежало как следует. Иначе он и писать не мог.

Петр Дмитриевич Боборыкин:

Не только женщинам, но и мужчинам он всегда, здоровый, на досуге, занятый или в постеле, отвечал на каждое письмо, по-европейски, иногда кратко, иногда обстоятельно, но всегда отвечал. Это в русском человеке дворянского происхождения великая редкость. Потому-то его корреспонденция и будет так огромна. В ней окажется много писем без особенного интереса для его личности; эти тысячи ответов покажут, как человечно и благовоспитанно относился он ко всем, кто обращался к нему...

Мария Гавриловна Савина (1854–1915), драматическая актриса:

Не могу не отметить одной характерной подробности. Во всех письмах Иван Сергеевич аккуратно обозначал время и всегда в заголовке ставил адрес. Его раздражала «русская манера» не писать адреса и тем лишать возможности тотчас ответить на письмо. Особенно он нападал на Григоровича, который всегда забывал это делать. Я запомнила этот урок на всю жизнь.

Павел Васильевич Анненков:

Вряд ли найдется в России человек, который более его заботился бы о всяком клочке бумаги, им полученном, даже с цифрами, уже уплаченными, о всякой квитанции портного и сапожника; который так приберегал бы всякое извещение о перемене адреса, уже не говоря о выражении мнений и суждений лиц, по-видимому мало ценивших предметы, о которых они теперь распространялись.

Яков Петрович Полонский:

Тургенев... был очень чистоплотен – ежедневно менял фуфайку, белье и весь вытирался губкой одеколоном с водой или туалетным уксусом... Тургенев не раз при мне совершал свой утренний туалет и при мне чесал свои волосы.

Раз он был очень доволен, что процедура эта повергает меня как бы в некоторое изумление.

– Видишь, – говорил он, весело поглядывая на меня своими вечно товарищескими, добрыми глазами, – я беру эту щетку... теперь я начинаю чесать ею вправо: раз, два, три... и так до пятидесяти раз; теперь начну чесать влево, и тоже до пятидесяти... Ну вот, теперь со щеткой кончено... Беру этот гребень – им я должен до ста раз пройти по волосам... Чему ты удивляешься? Постой, это еще не все... Погоди, погоди!.. За этим гребнем есть еще другой – с частыми зубьями...

И уж не знаю, шутя или не шутя, Иван Сергеевич уверял меня, что он ежедневно проделявает точно такую же операцию.

И. Ф. Рында, сосед Тургенева по имению:

Возвратившись с прогулки и не желая тревожить человека, сам обчищал свои сапоги, и это делал он уже стариком, когда страдал недугами.

Константин Константинович Случевский (1837–1904), поэт, прозаик:

Иван Сергеевич принадлежал к числу людей необычайно мнительных. Стоило ему встретить по выходе из дома лошадь той или другой масти, которая могла предвещать нечто нежелательное, стоило ему услышать в разговоре какой-нибудь намек на значение числа 13, как Иван Сергеевич тотчас если не содрогался, то как бы суживался и уходил в себя.

Яков Петрович Полонский:

Раз на Ивана Сергеевича утром напала какая-то странная тоска.

– Вот такая же точно тоска, – сказал он, – напала на меня однажды в Париже – не знал я, что мне делать, куда мне деваться. Сажу я у себя дома да гляжу на сторы, а сторы были раскрашены, разные были на них фигуры, узорные, очень пестрые. Вдруг пришла мне в голову мысль. Снял я стору, оторвал раскрашенную материю и сделал себе из нее длинный – аршина в полтора – колпак. Горничные помогли мне, – подложили каркас, подкладку, и, когда колпак был готов, я надел его себе на голову, стал носом в угол и стою... Веришь ли, тоска стала проходить, мало-помалу водворился какой-то покой, наконец мне стало весело.

– А сколько тогда было лет тебе?

– Да этак около двадцати девяти. Но я это и теперь иногда делаю. Колпак этот я берегу – он у меня цел. Мне даже очень жаль, что я его сюда с собой не взял.

– А если бы кто-нибудь тебя увидел в этом дурацком положении?

– И видели; но я на это не обращал внимания, скажу даже – мне было это приятно.

Наталья Александровна Островская:

Тургенев часто объявлял, что он «очень болен», и всегда воображал в себе какие-то необыкновенные болезни: то у него внутри головы, в затылке что-то «сдвигается», то точно «какие-то вилки выталкивают ему глаза»... Он в такую минуту хохлился, охал, а потом разговорится, развеселится и забудет о своих недугах. Мы в таких случаях втихомолку подсмеивались, что Иван Сергеевич у нас «закапризничал», как балованный ребенок. Но ребенок он был добрый: каприз у него скоро проходил. В данную минуту он чувствовал «бушеванье морских волн в голове».

Константин Платонович Ободовский:

Малейшее нездоровье, на которое другой не обратил бы никакого внимания, повергало его чуть ли не в отчаяние. Достаточно было проявиться у него какому-нибудь незначительному расстройству, чтобы он тотчас же усаживался дома и начинал лечиться.

Яков Петрович Полонский:

Оказалось, что слово «холера» на Тургенева производит нечто вроде паники, поглощает все его мысли, делает его почти помешанным. <...>

– Странный ты человек, Иван, – говорил я ему, – ведь холера, если она и есть, в трехстах верстах от нас.

– Это все равно... – отвечал он как бы расслабленным голосом, – хотя бы в Индии... Запала в меня эта мысль, попало это слово на язык, и – кончено! Первое, что я начинаю

чувствовать, это судороги в икрах, точно там кто-нибудь на клавишах играет. Как я могу это остановить – не могу, а это разливает по всему телу тоску и томление невыразимое. Начинает сосать под ложечкой, я ночи не сплю, со мной делаются обмирания... и затем расстраивается желудок. Мысль, что меня вот-вот захватит холера, ни на минуту не перестает меня сверлить, и что бы я ни думал, о чем бы ни говорил, как бы ни казался спокоен, в мозгу постоянно вертится: холера, холера, холера... Я, как сумасшедший, даже олицетворяю ее; она мне представляется в виде какой-то гнилой, желто-зеленой, вонючей старухи. Когда в Париже была холера, я чувствовал ее запах: она пахнет какою-то сыростью, грибами и старым, давно покинутым дурным местом. И я боюсь, боюсь, боюсь... И не странное ли дело, я боюсь не смерти, а именно холеры... Я не боюсь никакой другой болезни, никакой другой эпидемии: ни оспы, ни тифа, ни даже чумы... Одолеть же этот холерный страх – вне моей воли. Тут я бессилен. Это так же странно, как странно то, что известный герой кавказский Слепцов боялся паука; если в комнате его появлялся паук, с ним делалось дурно. Другие боятся мышей, иные – лягушек. Белинский не мог видеть не только змеи, но ничего извивающегося.

– Да, – возразил я, – но как скоро у них не было на глазах ни паука, ни змеи, ни лягушки – они были спокойны.

– Это нельзя сравнить: против того, другого и третьего – в нашей власти взять предосторожности, можно сделать так, что паук в комнате будет невозможен. Против всего можно принять меры, а какие меры могу принять я против возможности заболеть холерой? – никаких. Ты говоришь, что это малодушие. Справедливо; но что же делать?

Елена Ивановна Апрелева:

Слабый вздох донесся до нас с противоположного конца отделения, куда на одной из промежуточных станций близ Москвы вошла дама под вуалью.

Услышав вздох, Тургенев оглянулся. Дама, сидя спиной к нам, смотрела в окно и время от времени прижимала руку к виску.

– Не больна ли? – наклонясь ко мне, шепнул Иван Сергеевич. – Может, холера?

Я рассмеялась. Добродушно смеясь, в свою очередь, он, однако, пошарил в ручном мешке, вытащил флакон одеколона, с которым никогда в пути не расставался, окропил меня, себя, наши диваны и украдкой брызнул несколько капель в сторону все в той же позе неподвижно сидевшей незнакомки и затем, убрав флакон, продолжал рассказ.

Яков Петрович Полонский:

Я уже собрался покинуть Спасское. Тургенев тоже был на отлете – надо было ехать во Францию.

– Осиротеет там мой бедный нос, осиротеет! – говорил Тургенев. – Там уж нельзя будет к нему подносить табакерку или табачком угощать его... конечно!

Зная, с каким удовольствием, а может быть, и не без пользы, нюхает Ив. Серг. табак и как трудно отвыкать от такой привычки, я спросил: почему же в Париже он должен будет перестать нюхать?

– Нельзя, – отвечает он. – Там дамы мои не разрешают мне...

– Ну, ты нюхай в их отсутствии.

– И этого нельзя – подойдут – услышат запах...

<...> Перед своим отъездом он даже стал нюхать табак как можно реже, чтоб постепенно от этого отучить себя, и наконец, тяжело вздохнув, отдал свою табакерку моей жене.

Павел Васильевич Анненков:

Вообще он медленно отрывался от насиженного места, и никогда нельзя было верить срокам, назначенным им для своего выезда. Зато он не останавливался отдыхать на дороге

и пролетал большие расстояния, не выходя из вагона, даже и в припадках одной из своих болезней.

Иван Сергеевич Тургенев. В записи Н. А. Островской:

Мы остановились в Берлине не в одной гостинице с Тургеневым. На другой день он зашел к нам, и мы поехали его провожать. Он волновался: «Я никогда не могу успокоиться, пока не усядусь на место, – говорил он, – до тех пор мне все кажется, что я забыл что-нибудь самое необходимое». При первом звонке он сел в вагон и усадил нас с собой: «Мы еще успеем потолковать до отхода поезда, а здесь в вагоне у меня голова в порядке, я чувствую себя на твердой почве».

Наталья Александровна Тучкова-Огарева:

Он очень любил лежать на кушетках и имел талант свернуться даже на самой маленькой.

За шахматами

Яков Петрович Полонский:

По вечерам иногда мы играли в шахматы. Тургенев был искусный шахматист, теоретически и практически изучил эту игру и хоть давно уже не играл, но мог уступить мне королеву и все-таки выигрывал.

Константин Платонович Ободовский:

Жизнь И. С. вел чрезвычайно умеренную. Насколько мне известно, он не был любителем ни вина, ни карт. Единственная игра, составлявшая его слабость, были шахматы. Об этой игре он говорил с увлечением. Помню раз, как он описывал игру какого-то корифея шахматной игры: «Он не играет, – восклицал И. С., – он точно узоры рисует, совершенный Рафаэль!»

Сам И. С. играл очень хорошо и даже имел серебряную медаль за игру, полученную им от какого-то общества. Кстати, по поводу шахматной игры.

Как-то я пришел к Я. П. Полонскому и застал его играющим с Тургеневым в шахматы. По окончании партии, которую Тургенев, конечно, выиграл, так как Я. П. играл как дилетант, не претендуя, впрочем, никогда на славу хорошего игрока, И. С. предложил нам играть против него вдвоем. Я играл, пожалуй, еще хуже Я. П., но шутки ради присоединился к партии, и мы вдвоем атаковали Тургенева. Последний, видя в нас слабых игроков, отнесся к нашей игре с нескрываемым пренебрежением и, играя без внимания, начал делать промахи, которыми мы и воспользовались, взяв у него задаром слона и еще какую-то фигуру.

Партия его сразу сделалась гораздо слабее нашей, и ему начал грозить проигрыш. Надо было видеть, какое волнение овладело тогда И. С. Глаза его заискрились, движения сделались порывисты. Он устремил все свое внимание на игру, которая и пришла в результате, не без длительных однако усилий со стороны И. С., к нашему поражению, после чего он вздохнул с полным чувством облегчения.

Сергей Львович Толстой:

В другой раз вечером Тургенев играл в шахматы со мной и, насколько мне помнится, с отцом и Урусовым. Он был сильный игрок, сильнее отца. Давая мне ладью вперед, он одну партию выиграл, другую проиграл. Он рассказывал, что, играя на одном международном шахматном турнире решительную партию с одним поляком, он мог, благодаря ошибке своего противника, сделать выигрышный ход – открытый шах. Публика с волнением ждала, сделает ли он этот ход. Замешался национальный интерес: русский играл с поляком. Подумавши, Иван Сергеевич сделал выигрышный ход, и поляк сдался. Когда он это рассказывал, мне показалось, что в нем билась патриотическая жилка.

Он играл особенно искусно слонами. «Меня шахматисты называют „Le chevalier du fou“»¹⁵, – говорил он.

¹⁵ Рыцарь слона (*фр.*).

Наедине с природой

Петр Алексеевич Васильчиков (1829–1898), камергер, мемуарист. Из дневника:

10 декабря 1853 г. Тургенев, конечно, один из самых милых людей, которых я когда-либо встречал; какая у него должна быть душа, как он сочувствует природе: я помню один вчерашний рассказ, который на меня произвел большое впечатление, может быть отчасти благодаря его фантастическому характеру. Он говорил о том, как он сочувствует природе, как, когда он созерцает ее, им часто овладевает восторг и как, если он предается этому восторгу, им овладевает потом какое-то сладостное чувство, душа ноет, что-то как будто сосет сердце. Он говорил, что он раз прошедшую осень совершенно предался этому чувству и что оно усилилось в нем до такой степени, что он вошел в какое-то странное состояние. Ему показалось, будто все его окружающее, деревья, растения – все силилось говорить ему и не могло, все, казалось, хотело сказать ему что-то и давало как-то ему почувствовать, что оно связано. Перед ним стояла небольшая красивая береза. «Мне показалось, не знаю почему, – продолжал он, – что она была женского рода; я сказал внутренно: я знаю, что ты женщина, говори; и в ту же минуту один сук березы медленно, как будто с грустью, опустился. Волосы стали у меня дыбом от испуга, и я бежал опрометью...»

Эдмон Гонкур. Из дневника:

3 мая 1873. <...> Он говорит затем о сладостных часах своей юности, о часах, когда, растянувшись на траве, он вслушивался в шорохи земли, о настороженной чуткости к окружающему, когда он всем своим существом уходил в мечтательное созерцание природы, – это состояние не описать словами. Он рассказывает о своей любимой собаке, которая словно разделяла его настроение и в минуты, когда он предавался меланхолии, неожиданно испускала тяжкий вздох; однажды вечером, когда Тургенев стоял на берегу пруда и его внезапно охватил какой-то неизъяснимый ужас, собака кинулась ему под ноги, как будто испытывая такое же чувство.

Яков Петрович Полонский:

В спорах своих со мной Иван Сергеевич постоянно обнаруживал крайне безотрадное, пессимистическое мирозерцание. Никак не мог он помириться с тем равнодушием, какое оказывает природа – им так горячо любимая природа – к человеческому горю или к счастью, иначе сказать, ни в чем человеческом не принимает участия. Человек выше природы, потому что создал веру, искусство, науку, но из природы выйти не может – он ее продукт, ее окончательный вывод. Он хватается за все, чтоб только спастись от этого безучастного холода, от этого равнодушия природы и от сознания своего ничтожества перед ее всесозидающим и всепожирающим могуществом. Что бы мы ни делали, все наши мысли, чувства, дела, даже подвиги будут забыты. Какая же цель этой человеческой жизни?

Эдмон Гонкур. Из дневника:

27 ноября 1876. Возвращаясь по улице Клиши, Тургенев поверяет мне замыслы будущих повестей, которые занимают его; в одной из них ему хочется передать ощущения какого-нибудь животного в степи, где оно по грудь утопает в высокой траве, скажем, старой лошади.

Помолчав с минуту, он продолжает: «На юге России попадаются стога величиной с такой вот дом. На них взбираются по лесенке. Мне случалось ночевать на таком стогу. Вы не можете себе представить, какое у нас там небо, синее-синее, густо-синее, все в крупных серебряных звездах. К полуночи поднимается волна тепла, нежная и торжественная (я передаю подлинные выражения Тургенева), – это упоительно! Однажды, лежа так на верхушке

стога, глядя в небо и наслаждаясь красотой ночи, я вдруг заметил, что безотчетно повторяю и повторяю вслух: „Одна, две! Одна, две!“»

Батист Фори:

Как-то вечером он рассказал нам в кругу семьи Виардо, что однажды в России он был на охоте и ему случилось найти приют в заброшенном сарае. Расположившись с самоваром на берегу реки, он подкрепился молоком, хлебом, картофелем, испеченным в золе, а затем забрался по лестнице на огромный стог сена; он рассказал нам об испытанном им тогда упоении: лежа на спине под усеянным звездами небом, он почувствовал, как его охватывает сладкая и таинственная теплота.

Сергей Львович Толстой:

Иван Сергеевич хорошо знал птиц и отличал их по пению. «Это поет овсянка, – говорил он, – это – коноплянка, это – скворец» и т. д. Отец признавался, что он так хорошо птиц не знает.

Яков Петрович Полонский:

В немногие хорошие дни, когда ветер подувал с востока, теплый и мягкий, а пестрые, тупые крылья низко перелетавших сорок мелькали на солнце, Тургенев просыпался рано и уходил к пруду посидеть на своей любимой скамеечке. Раз проснулся он до зари и, как поэт, передавал мне свои впечатления того, что он видел и слышал: какие птицы проснулись раньше, до восхода солнца, какие голоса подавали, как перекликались и как постепенно все эти птичьи напевы сливались в один хор, ни с чем не сравнимый, не передаваемый никакой человеческой музыкой... Если бы было возможно повторить слово в слово то, что говорил Тургенев, вы бы прочли одно из самых поэтических описаний – так глубоко он чувствовал природу и так был рад, что в кои-то веки, на ранней заре в чудесную погоду был свидетелем ее пробуждения...

Иван Сергеевич Тургенев. В записи Е. И. Цветкова:

Если бы можно было войти в утробу матери и родиться снова, если бы можно было снова выбирать себе карьеру, я не выбрал бы карьеры писателя; точно так же как не выбрал бы карьеры композитора, ученого, адвоката, генерала. Я выбрал бы карьеру пейзажиста. Карьера пейзажиста мне нравится больше всех известных карьер. Пейзажист не зависит ни от издателя, ни от цензуры, ни от публики; он вполне свободный художник. В природе так много прекрасного, что сюжет всегда для него готов, готов целиком. Умей только выбрать его. Расправь свой холст, бери краски и пиши. Лгать тут не нужно. Напротив, чем вернее, точнее схватит он лежащую пред его глазами картину природы, тем его собственная картина будет выше, совершеннее. А самый-то процесс этого творчества – тихий, без увлечений, но в то же время дающий человеку самое высокое, самое чистое наслаждение.

Иван Сергеевич Тургенев. Из письма Г. Флоберу. 2 июля 1874 г.:

Я не дитя Природы: ее «чудеса» волнуют меня меньше, чем «красоты» Искусства. Она подавляет меня, но не внушает мне никаких «великих мыслей». Мне хочется сказать ей в душе: «Ты прекрасна; только что я вышел из недр твоих; через несколько мгновений вернусь обратно; оставь меня в покое, я жажду иных развлечений».

ОХОТНИК

Людвиг Пич:

Это был человек, не сделавший никому ни малейшего вреда, кроме разве животных, убитых им на охоте, так как он всю свою жизнь был страстным и неутомимым охотником.

И. Рында:

Иван Сергеевич на охоте был неутомимый ходок. Бывало, только остановятся на привале, разговорятся, а он уже торопит: «Идемте, идемте!»

Афанасий Афанасьевич Фет:

Приближался июль месяц (1858 г. – Сост.), около десятого числа которого молодые тетерева не только уже превосходно летают, но начинают выпускать перья, отличающие рябку от черныша. 8-го июля мы с женою приехали в Спасское, где все приготовления к охоте уже были окончены. На передней тройке за день до нашего отъезда отправлялся знаменитый Афанасий с поваренком, еще с другим охотником и с собаками, а на другой тройке в крытом тарантасе следовали мы с Тургеневым днем позднее. Направлялись мы в полесье Жиздринского уезда, Калужской губернии, через Волхов, до которого от Спасского верст пятьдесят. <...> Отправившись из Спасского около полудня, мы прибыли весьма рано на ночлег в Волхов, откуда передовая наша подвода уже выехала на дальнейшую станцию.

В отведенных нам комнатах с целыми восходящими рядами сияющих образов по углам Тургенева встретило препятствие, причинившее ему немало волнения; неразлучную его белую с желтоватыми ушами Бубульку ни за что не хотели впускать в комнату, так как она пес. Над необыкновенною привязанностью Тургенева к этой собаке в свое время достаточно издевался неумолимый Лев Толстой, но со стороны Тургенева такая нежность к Бубулке была извинительна. Когда собака была еще щенком, мадам Виардо, лаская ее, говорила: «Бубуль, бубуль». Это имя за нею и осталось. Со скорым, верным и в то же время осторожным поиском эта превосходная собака соединяла рассудок, граничащий с умозаключениями. <...>

Бубулька всегда спала в спальне Тургенева, на тюфячке, покрытая от мух и холода фланелевым одеялом. И когда по какому-либо случаю одеяло с нее сползало, она шла и бесцеремонно толкала лапой Тургенева. «Вишь ты, какая избалованная собака», – говорил он, вставая и накрывая ее снова.

С большим трудом удалось нам убедить толстую хозяйку с огненного цвета волосами, выбивающимися из-под шелковой повязки, что Бубулька представляет исключение из всех собак и что поэтому несправедливо считать ее псом. «Пес лает и неопрятен, а она никогда». <...>

В то время еще не было в употреблении ружей, заряжающихся с казенной части, и Тургенев, конечно, был прав, пользуясь патронташем с набитыми заранее патронами, тогда как я заряжал свое ружье из пороховницы с меркою и мешка дробовика, называемого у немцев Schrot-Beutel, причем заряды приходилось забивать или нарубленными из шляпы кружками, или просто войлоком, припасенным в ягдташе. У меня не было, как у Тургенева, с собою охотников, заранее изготовляющих патроны; а когда при отъезде на охоту необходимо запастись, сверх переменного белья, всеми ружейными принадлежностями, то отыскивать что-либо в небольшом мешке весьма хлопотливо и неудобно, и Борисов очень метко обозвал это занятие словами: «тыкаться зусенцами». Конечно, такое зарядение шло медленнее, и когда Тургеневу приходилось поджидать меня, он всегда обзывал мои снаряды «сатанинскими». Помню однажды, как собака его подняла выводок тетеревей, по которому он дал два промаха

и который затем налетел на меня. Два моих выстрела были также неудачны навстречу летящему выводку, который расселся по низкому можжевельнику, между Тургеневым и мною. Что могло быть удачнее такой неудачи? Можно ли было выдумать что-либо великолепнее предстоящего поля? Стоило только поодиночке выбирать рассеявшихся тетеревей. Тургенев поспешно зарядил свое ружье, подзвав к ногам Бубульку, и кричал издали мне, торопливо заряжавшему ружье: «Опять эти сатанинские снаряды! Да не отпускайте свою собаку! Не давайте ей слоняться! Ведь она может наткнуться на тетеревей, и тогда придется себе опять кишки рвать». <...>

Помню, что в первый день мы охотились в два приема, то есть вернулись к часу, на время самой жары, домой к обеду, а в пять часов отправились снова на вечернее поле. В первый день я, к величайшей гордости, обстрелял всех, начиная с Тургенева, стрелявшего гораздо лучше меня. Помнится, я убил двенадцать тетеревей в утреннее и четырех – в вечернее поле. Чтобы облегчить дичь, которую мы для ношения отдавали проводникам, мы потрошили ее на привале и набивали хвоей. А на квартире поваренок немедленно обжаривал ее и клал в заранее приготовленный уксус. Иначе не было возможности привезти домой дичины.

Нельзя не вспомнить о наших привалах в лесу. В знойный июльский день при совершенном безветрии открытые гари, на которых преимущественно держатся тетерева, напоминают своею температурой раскаленную печь. Но вот проводник ведет вас на дно изложины, заросшей и отененной крупным лесом. Там между извивающимися корнями столетних елей зеленеет сплошной ковер круглых листьев, и когда вы раздвинете их прикладом или веткою, перед вами чернеет влага, блестящая, как полированная сталь. Это лесной ручей. Вода его так холодна, что зубы начинают ныть, и можно себе представить, как отрадна ее чистая струя изнеможенному жаждой охотнику.

И. Рында:

Если первый выстрел был удачен, остальные шли как по маслу; Иван Сергеевич делался в это время необыкновенно веселым; его шуткам и конца не было. Редко можно было найти такого душевного и предупредительного сотоварища... Но стоило только Ивану Сергеевичу первый раз «пропуделять» (не попасть в цель), он делался неузнаваемым: сердился, нервничал, капризничал – именно капризничал – как женщина. Понятно, что в таком состоянии выстрелы следовали один неудачнее другого, и Иван Сергеевич все обвинял: и ружье, и погоду, и дичь; но, Боже упаси, только не самого себя! За каждым промахом он только и твердил: «Так уж и пойдет у меня, коли я не попал в первый раз; так уж и пойдет, так и пойдет!»

Наталья Александровна Островская:

«Посмотрела бы ты, что с ним было, – рассказывал мне муж со смехом, – когда он фазана пропуделял: бросился на землю, сел на корточки, машет руками и кричит, что „так жить нельзя“. После этой неудачи он все уверял нас, что даже Пегас его презирует».

Иван Сергеевич Тургенев. Из очерка «Пэгаз»:

У меня, как у всякого «завязтого» охотника, перебивало много собак, дурных, хороших и отличных – попалась даже одна, положительно сумасшедшая, которая и кончила жизнь свою, выпрыгнув в слуховое окно сушильни, с четвертого этажа бумажной фабрики; но лучший без всякого сомнения пес, которым я когда-либо обладал, был длинношерстый, черный с желтыми подпалинами кобель, по кличке «Пэгаз», купленный мной в окрестностях Карлсруэ у охотника-сторожа <...> за сто двадцать гульденов – около восьмидесяти рублей серебром. Мне несколько раз – впоследствии времени – предлагали за нее тысячу франков. <...> Пэгаз – крупный пес с волнистой шерстью, с удивительно красивой, громадной голо-

вой, большими карими глазами и необычайно умной и гордой физиономией. Породы он не совсем чистой: он являет смесь английского сеттера и овчарной немецкой собаки: хвост у него толст, передние лапы слишком мясисты, задние несколько жидки. Силой он обладал замечательной и был драчун величайший: на его совести, наверно, лежит несколько собачьих душ. О кошках я уже не упоминаю. Начну с его недостатков на охоте: их немного, и перечесать их недолго. Он боялся жары – и когда не было близко воды, подвергался тому состоянию, когда говорят о собаке, что она «зарьяла»; он был также несколько тяжел и медлителен в поиске; но так как чутье у него было баснословное – я ничего подобного никогда не встречал и не видывал, – то он все-таки находил дичь скорее и чаще, чем всякая другая собака. Стойка его приводила в изумление – и никогда – никогда! он не врал. «Коли Пэгаз стоит – значит есть дичь» – было общепринятой аксиомой между всеми нашими товарищами по охоте. Ни за зайцами, ни за какой другой дичью он не гонял ни шагу; но, не получив правильного, строгого, английского воспитания, он, вслед за выстрелом, не выжидая приказания, бросался поднимать убитую дичь – недостаток важный! Он по полету птицы тотчас узнавал, что она подрана, – и если, посмотрев ей вслед, отправлялся за нею, поднимая особенным манером голову, – то это служило верным знаком, что он ее сыщет и принесет. <...>

Понимал он меня с полуслова; взгляда было для него достаточно. Ума палата была у этой собаки. В том, что он однажды, отстав от меня, ушел из Карлсруэ, где я проводил зиму, – и четыре часа спустя очутился в Баден-Бадене, на старой квартире, – еще нет ничего необыкновенного; но следующий случай показывает, какая у него была голова. В окрестностях Баден-Бадена как-то появилась бешеная собака и кого-то укусила; тотчас вышел от полиции приказ: всем собакам без исключения надеть намордники. В Германии подобные приказы исполняются пунктуально, и Пэгаз очутился в наморднике. Это было ему неприятно до крайности; он беспрестанно жаловался – то есть садился напротив меня – и то лаял, то подавал мне лапу... но делать было нечего, надлежало покориться. Вот однажды моя хозяйка приходит ко мне в комнату и рассказывает, что накануне Пэгаз, воспользовавшись минутой свободы, зарыл свой намордник! Я не хотел дать этому веры; но несколько мгновений спустя хозяйка моя снова вбегает ко мне и шепотом зовет меня поскорее за собою. Я выхожу на крыльцо – и что же я вижу? Пэгаз с намордником во рту пробирается по двору украдкой, словно на цыпочках – и, забравшись в сарай, принимается рыть в углу лапами землю – и бережно закапывает в нее свой намордник! Не было сомнения в том, что он воображал таким образом навсегда отделаться от ненавистного ему стеснения. <...>

Нрава он был – нечего греха таить – сурового и крутого; но ко мне привязался чрезвычайно, до нежности.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая:

Помню Тургенева в один из его приездов (1881 г. – Сост.) ранней весной на тяге с отцом и матерью.

Сумерки. Отец стоит с ружьем (он тогда еще охотился) на поляне, среди мелкого, еще не распутившегося осинника. Недалеко – моя мать с Иваном Сергеевичем. Мы, дети, неподалеку устраиваем костер из сухих сучьев. Все говорят шепотом, чтоб не отпугивать тянувших вальдшнепов.

Тяга удачная. Поминутно слышен особенный легкий, прозрачный свист вальдшнепов и потом характерное хорканье. В эти минуты все настораживаются и замирают... Бац! – раздается выстрел... Лягавая собака суетится и бежит искать упавшую птицу... Потом опять все становятся по местам.

Лев Львович Толстой (1869–1945), сын Л. Н. Толстого:

Отец поставил Тургенева на лучшую поляну, на которой было несколько старых пней, а сам пошел дальше...

Тургенев стоял молча, прислушиваясь и держа наготове ружье...

Я сидел на пенушке как очарованный, не смел шевельнуться...

Раздался первый пронзительный свист пролетавшего в стороне вальдшнепа.

– Мимо, далеко, – грустно произнес Тургенев.

И опять тишина и ожидание.

Вдруг громкий выстрел раздался близко, с той стороны, куда пошел отец...

– Ну, конечно, на него летят, – тихо говорит Тургенев.

И в голосе его звучит нотка досады.

Еще свист и карканье.

Тургенев настораживается, но опять вальдшнеп протягивает далеко над макушками берез, вне ружейного выстрела. Мы ждем еще и еще. Но, как нарочно, ни одного вальдшнепа не налетает на нас.

Со стороны отца раздается еще несколько выстрелов, из которых два дуплетами.

Совсем темнеет...

Тяга кончится скоро, а Иван Сергеевич еще ни разу не стрелял.

Но вот где-то близко слышно густое карканье и пронзительный свист.

Тургенев вскидывает ружье и стреляет.

Вальдшнеп падает вниз, в густую чащу осинника и кустов. Я стремглав лечу его подбирать. Тургенев идет за мной. Но в темноте ничего не видно. Мы ходим, ищем, зовем отцовскую собаку, ищем вместе с ней, но убитого вальдшнепа не находим... Тургеневу досадно. Он сердится на свою незадачу.

Подходит отец и издали спрашивает:

– Ну, что? Убили?

– Да, но никак не найдем. А вы что сделали?

– Двух убил, – отвечает отец и показывает свой полный ягдташ.

– Нет, положительно этот человек родился в рубашке, – с завистью говорит Тургенев: – счастье во всем и всегда.

Так мы и не нашли в этот вечер убитого тургеневского вальдшнепа, и он уехал от нас без него.

Только на другой день утром мы, мальчики, пошли за Митрофанову избу, на «Тургеневскую» поляну, и нашли убитого вальдшнепа, застрявшего между двумя суками осины.

Барин

Елена Ивановна Апрелева:

Он отличался, как известно, доверчивостью и непрактичностью. Несмотря на достоверные и непреложные факты, доведенные до его сведения, о неудовлетворительном управлении его имением, Иван Сергеевич долго медлил положить этому предел. В конце концов он решился, однако, доехать в Спасское с тем, чтобы переменить управляющего.

Письма его по поводу свершившегося события полны юмора. Объявив свой ультиматум и выдержав от рассчитанного управляющего целый поток угроз и грубостей, он, кипя от бешенства, молча смотрел из окна, как воз за возом увозили имущество кичливого пана, примечая среди этого имущества знакомые, несомненно, всегда в Спасском находившиеся предметы, пока и сам управляющий не выехал из ворот; тогда, словно опомнившись, он выскочил, в свою очередь, за ворота, и, грозя кулаком вслед благополучно отъехавшему уже далеко управляющему, разразился самою неистовою бранью. Облегчив себя этим взрывом никому не повредившей ярости, он вернулся в дом и принялся в юмористическом тоне, не щадя себя, описывать эту комическую сцену в письме г-же Виардо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.